

Николай Николаевич Страхов¹. Критико-биографический очерк

I

Николай Николаевич Страхов родился 16 октября 1828 года в Белгороде, старинном городе Курской губернии, на границе Великороссии и Малороссии. Отец его, Николай Петрович, великоросс, был протоиереем и преподавателем словесности в Белгородской семинарии. Он окончил курс в Киевской духовной академии, получил ученую степень магистра богословия и имел, кроме профессуры, приход. Женат он был на малороссиянке, Марье Ивановне Савченко, из дворянской фамилии. В прошлом столетии в Малороссии нередки бывали случаи, что дворяне поступали в духовное звание: так точно и дед Страхова со стороны матери, подобно отцу, был протоиереем в Белгороде. Когда Страхову было всего лишь семь лет, отец его скончался, и он только год посещал местное духовное училище; затем, вероятно в 1837 году, мать увезла его и старшего на год брата Петра в Каменец-Подольск к своему брату, бывшему там ректором семинарии. В 1839 году дядя Страхова был переведен на такое же место в Кострому и взял с собою своих родственников.

Поступив в 1840 году в Костромскую семинарию в «ретику»² и перейдя затем в «философию»³ (с двухлетним курсом каждая), Страхов решил переехать в Петербург и поступить в университет.

О семинарии, в которой он провел свои школьные годы, Страхов нередко вспоминал с большой любовью и благодарностью, особенно подробно в его неоконченных и еще не напечатанных «Воспоминаниях о ходе философской литературы» — статье автобиографического характера, наряду с прочими «биографическими сведениями» переданной покойным пишущему эти строки для составления настоящего очерка, давно уже задуманного и подготавливавшегося. Семинария помещалась в Костромском Богоявленском монастыре. «Это был беднейший и почти опустевший монастырь: в нем было, кажется, не более восьми монахов; но это был старинный монастырь, основанный еще в XV веке. Стены его были облуплены, крыши по местам оборваны; но это были высокие крепостные стены, на которые можно было всходить, с башнями по углам, с зубцами и бойницами по всему верхнему краю. Везде были признаки старины: тесная соборная церковь с темными образами, длинные пушки, лежавшие кучей под нижним открытым сводом, колокола со старинными надписями. И прямое продолжение этой старины составляла наша жизнь: и эти монахи со своими молитвами, и эти пять или шесть сотен подростков, сходящихся сюда для своих умственных занятий. Пусть все это было бедно, лениво, слабо; но все вместе имело совершенно определенный смысл и характер, на всем лежала печать своеобразной жизни. Самую скудную жизнь, если она, как подобает жизни, имеет внутреннюю цельность и своеобразие, нужно предпочесть самому богатому накоплению жизненных элементов, если они органически не связаны и не подчинены одному общему началу». А бедность и скудость этой семинарской жизни были во всяком случае необычайны. «Даже учебные книги были редки. Общего употребления печатных учебников не существовало: такие учебники были бы даже и не по средствам большей части учащихся, детей бедного сельского духовенства, которые часто приходили в классы летом в крашенинных халатах, а зимою в нагольных тулупах и лаптях».

Преподавание в костромской семинарии велось, как и во всех других, «в долбляшку», «с энтих до энтих». Занятия учеников, при всей скуке и мертвенности буквального затверживания, были, по существу дела, а главное, по размерам уроков, совершенно пустяшные, свободного времени у мало-мальски способных было неизмеримо больше, чем занятого, а бедность и скука семинарской жизни налагали свой безотрадно грубый и низменный характер на способы убивания этого времени. «Мне странно вспомнить однако, — пишет Страхов, — что, несмотря на наше бездействие, несмотря на повальную лень, которой предавались и ученики, и учащие, какой-то живой умственный дух не покидал нашей семинарии и сообщился мне. Уважение к уму и науке было величайшее; самолюбия на этом поприще разгорались и соперничали беспрестанно; мы принимались умствовать и спорить при всяком удобном поводе; писались иногда стихи, рассуждения, передавались рассказы об удивительных подвигах ума, совершавшихся архиереями, в академиях и т. д. Словом, у нас господствовала очень живая любовь к учености и глубокомыслию, но, увы, любовь почти совершенно платоническая, только издали восхищающаяся своим предметом».

«Наши умы и души имели, впрочем, свое определенное содержание, именно — были проникнуты религиозными представлениями. Неверующих и вольнодумцев у нас вовсе не было, и мы были твердо убеждены, что отрицание религии есть крайняя уродливость, чрезвычайно редко встречающаяся в роде человеческом. Мы вполне испытали на себе влияние религии, мы были воспитаны под ее верховным руководством». — «Религиозные представления, — говорит он несколько далее, — ставят нас в такие отношения ко всему остальному бытию, перед которыми мелки и ничтожны всякие другие отношения. Жизнь обращается в глубокую драму, в поприще роковой борьбы. Вместо бесцельного существования, проводимого среди будничных нужд и будничных радостей, человеку предлагается подвиг и указывается впереди или жестокая гибель, или бесценная награда.

И все то, что было, что есть и что будет, получает вид несравненного величия и яркости. Даются представления о существах бесконечно высоких и прекрасных, в которых самые возвышенные идеалы составляют действительность. Определяется весь ход и смысл бытия; известно начало всего мироздания и начало человеческой истории, известен и конец ее, и то устье, которым она некогда впадет в светлый океан вечности. Поистине, религия, если взять ее со стороны чувства и понятий, составляет действительное доказательство благородства души человеческой, и если бы мы вообразили себе человечество без религии, то нам пришлось бы его понизить до степени животных».

Вторым основным элементом умственного содержания семинарской жизни был патриотизм. «В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, как дети России. Не было сомнения, не было самой возможности сомнения в том, что она нас породила и питает, что мы готовимся ей служить и должны оказывать ей всякий страх и всякую любовь». В своих воспоминаниях о Достоевском⁴ Страхов еще точнее высказался по этому поводу. «С детства я был воспитан в чувствах безграничного патриотизма, — пишет он, — я рос вдали от столиц, и Россия всегда являлась мне страной, исполненной великих сил, окруженную несравненно славою, первую страной в мире, так что я в точном смысле слова благодарил Бога за то, что родился русским. Поэтому я долго потом не мог даже вполне понимать явлений и мыслей, противоречивших этим чувствам; когда же я наконец стал убеждаться в презрении к нам Европы, в том, что она видит в нас народ полуварварский и что нам не только трудно, а просто невозможно заставить ее думать иначе, то это открытие было мне невыразимо больно, и боль эта отзывается до сегодня». — «Настоящий, глубокий источник патриотизма, — заканчивает Страхов свои воспоминания о семинарии, — есть преданность, уважение, любовь — нормальные чувства человека, растущего в естественном единении со своим народом.

Хорошо или дурно, много или мало, но именно эти чувства воспитывала в нас наша бедная семинария».

Таковы были обстоятельства и условия, при которых будущий писатель получил свое первоначальное образование и воспитание. Их влияние было чрезвычайно глубоко и разнообразно. Прежде всего, монастырская жизнь и семинарское развитие выработали в Страхове его личный характер или то, что называют обыкновенно характером: приемы обращения с людьми и предметами, отношения к мнениям и системам, к искусству и науке. И в личном обхождении покойного, и в строе его жизни, и во всей его биографии было много аскетического, много знакомого каждому, кто хоть поверхностно наблюдал характер и особенности православного монашества. Всегда неизменно деликатный и благодушный, мягкий и вежливый, но уклончивый, так же скупой на выражение своих симпатий, как и антипатий, старающийся все свои настроения и впечатления скрасить шуткой и смехом, по возможности не высказывающий своего мнения и с величайшим вниманием выслушивающий во всех подробностях всякую чужую мысль, никогда не направляющий разговора в ту или другую сторону, но всегда идущий за своим собеседником, охотно подтрунивающий, но никогда не допускающий себе обмолвиться ни одним резким, грубым или неуместно игривым словом — таким вспоминают его с невольной любовью все, кто лично знал Страхова. Он обо всем решительно беседовал таким тоном, как монах говорит с мирянином о светских делах и вопросах, тщательно избегая даже малейших намеков обнаружить хоть что-нибудь из внутреннего быта и обихода своего монастыря. О себе самом Страхов почти никогда не говорил, даже местоимение «я» проскальзывало у него в разговоре, как и в сочинениях, только в виде исключения. Комфорт, удовольствия и удобства жизни для него, можно сказать, не существовали; он заменял их только редкой чистотой, аккуратностью и порядком. В его дом вы входили, как в келлию какого-нибудь монастырского библиотекаря: портреты хозяина, подаренные ему на память художниками, портреты и бюсты двух, трех писателей, две-три картинки, дорогие, как воспоминания детства, и полки с книгами: вот вся его обстановка.

Несколько стульев предназначалось для гостей; остальная мебель допускалась лишь как прибор для помещения книг. Книги «значили очень много в его жизни», как он выразился в своих воспоминаниях. Приобретение книг было единственным «светским удовольствием», спортом, охотой этого мирского монаха. Составленная им библиотека поражала всякого обозревателя систематичностью, обдуманностью подбора, разнообразием, богатством и полнотою содержания. В мышлении, разговорах, в своих произведениях он опять-таки отличался той чисто монашеской, почти наивной серьезностью, с которой взвешивал каждую высказанную ему мысль, каждое прочитанное им мнение, тем глубоким и непосредственным восторгом, тем простодушным и искренним любопытством, с которыми готов был восхищаться каждым оригинальным взглядом или суждением, каждым маломальским даровитым произведением науки или искусства, наконец, каждым проблеском таланта вообще, в чем бы тот ни проявлялся. Даже манеры, обороты речи, самая наружность его напоминали типичного великорусского монаха.

В равной мере с личным характером воспитание и образование Страхова в том, что в писателе соответствует характеру в человеке, а именно в его стиле. Неопределенно уклончивая мягкость этого стиля при совершенной точности, ясности и чистоте языка сообщает произведениям Страхова удивительную внешнюю оригинальность. Полная простота и общедоступность изложения неотъемлемо свойственны этим самым простым книгам о самых мудреных и темных вопросах. Он вежлив и деликатен с мыслями и мнениями, как с людьми, не обнаруживая притом ни тоном, ни отношением к ним своего согласия или несогласия. Насмешки, желчи в них нет и помина, хоть читатель очень часто встречается с тонкой, осторожной, но тем более меткой и едкой иронией. Эта ирония смешит читателя не насчет чужих промахов или недостатков, а именно тем, что с безжалостным беспристрастием раскрывает смехотворную сущность этих недостатков и промахов.

В своеобразной рассудительности его шуток особенно ярко проявляется основная манера Страхова: он всегда писал простодушно, хотя рассуждал хитроумно. Он писал как будто не теми словами, какими думал. Осторожность и отвлеченность, прозрачность выражений, слишком художественные, чтобы напоминать мертвенный канцелярский стиль, и в то же время слишком светские, чтобы вполне приближаться к манере письма современных церковных писателей, так изысканны и в то же время просты у Страхова, до такой степени предоставляют читателя мыслям автора, ничего ему не подсказывая слогом, что многие склонны смешивать их с неискренностью. «Нет на свете писателя, который бы так старался и так умел скрыть от читателя свою мысль, как Страхов», — воскликнул как-то один тонкий и глубокий знаток русской словесности; но эта забавная шутка едва ли нуждается в опровержении. Нам просто непривычен монашеский тон Страхова в применении к светским вопросам и предметам, и потому даже до сих пор лишь немногие понимают, что церковная стилистика дала русской литературе в лице Страхова одного из самых замечательных наших прозаиков. То, в чем иные склонны видеть хитрость или лукавство, было, в сущности, величайшей добросовестностью, учтивостью мысли этого аскета стилистики.

Далее, в самой литературной технике Страхова нельзя не признать глубокого влияния школы духовного красноречия. Оно ярче всего сказывается в удивительной чистоте его языка, в умении избегать, с одной стороны, иностранных, с другой — вообще безвкусных, манерных и неточных слов, вообще выражений, не соответствующих свойствам и характеру обсуждаемых им предметов, без всякого ущерба для ясности и выразительности даже мельчайших и тончайших оттенков его мысли. Кроме того, лексикон Страхова — чрезвычайно богатый — изобилует замечательно удачными заимствованиями из языка современных церковных писателей. Особенно поучительны достоинства этих приемов в его переводах — лучших переводах научных сочинений на русский язык, какие существуют. Крайне характерно также стремление Страхова к общедоступности изложения, положительно несравненной у него, особенно при сопоставлении его работ — где возможно — с произведениями других писателей по философским или научным вопросам.

Но, быть может, всего благотворнее и сильнее выразилось влияние школы духовного красноречия в обработанности, законченности, художественности сочинений Страхова, более чем непривычных для русского читателя в небеллетристической прозе. Во всех своих произведениях он художник самый добросовестный и тщательный, и многие его страницы, посвященные химии, физиологии, психологии, газетным рецензиям даже, — просто бесподобны в эстетическом отношении совершенно даже независимо от их высокого научного достоинства. Он обдумывал и обрабатывал все свои даже мельчайшие заметки с тою же старательностью, как иной поэт свои лирические стихотворения. Он предпочитал вовсе не писать, чем писать кое-как, наскоро, и потому свои статьи смело мог переиздавать без всяких изменений в отдельных книжках и сборниках. Ни их содержание, ни их форма не лишали их общего, долговечного значения; они все, по выражению Достоевского, были «писаны для полного собрания сочинений».

В-четвертых, наконец, происхождение и первоначальное образование и воспитание Страхова обусловили весь дальнейший ход его развития, всю его дальнейшую деятельность. В этом отношении нельзя не отметить некоторой биографической параллели между Страховым и Ренаном, о котором покойный оставил такие превосходные статьи, полные самой глубокой любви к этому замечательному писателю и составляющие самую безжалостную критику на главные основы его воззрений. К Страхову вполне можно применить многое из того, что сам он говорит о Ренане, получившем после революции 1830 года такое же клерикальное воспитание и обучение, какое давалось и за двести лет до того в самых строгих религиозных обществах, и впоследствии как будто вдруг перескочившем через два столетия в свою современность⁵. Как и Ренан, и даже в еще большей степени, чем он, Страхов не был современником своего века. В его лице как будто ожил для нашего легковверного, поверхностного и утонченного столетия какой-нибудь ученый XIV-XV веков, простодушный, положительный и серьезный.

Его добросовестное, пытлиное отношение к жизни и науке является теперь чуть ли не наивностью; но эта наивность и есть та самобытность, которая восхищает нас в характерах и умах древности и которой мы сами так неуволимо лишились. Такие умы, как он, — их можно пересчитать по пальцам — те немногие праведники, которые спасут наш XIX век от полного осуждения историей. Великая французская революция и все порожденные ею дезорганизуемые (так называемые «освободительные») перевороты и преобразования разнуздали стихийные инстинкты народов Запада. Героическое прошлое, героическая история, героическая политика, героическая наука, героическое искусство стали достоянием толпы, превратились в площадную историю, площадную политику, площадную науку. Площадное искусство. Гениев заменила толпа. Охлократия духа стала господствующим строем, течением века. Лавина площадного демократизма впервые хлынула на Европу в 1789 году⁶ и своими громовыми перекатами, непрерывно длившимися в течение целого столетия, пошатнула и расстроила ее лучшие умы. Одних она раздробляла и размалывала на мелочи газетной публицистики; другие, не выдержав напора модных учений и систем, сорвались, как оторванные лавиной скалы, и стали страшным орудием разрушения в общей массе обломков великого духовного обвала; иные, как, например, на наших глазах гр. Л. Н. Толстой, долго соблюдавшие свою духовную независимость и самобытность, в старческом ослаблении бессильно поддались потоку века и постыдно падают в ничтожную современность; мало было таких, которые, как Страхов, не только не уступили всеобщему направлению, но, как незыблемые скалы, разрезающие острыми вершинами грохочущую лавину, не могли даже признать серьезности ее стремления, которые только смеялись и удивлялись чудовищному разрушению и всеобщему отрицанию, скептицизму, неустойчивости и самоуверенной подвижности девятнадцатого века. И бесспорно, что в костромской семинарии, этом «бедном, ленивом, слабом» училище, Страхов получил начатки того своеобразного закала духа, того отношения к миру, людям, науке и ее учениям, которые составляют его лучшую славу и величайшую заслугу.

II.

Тот «живой умственный дух» костромской семинарии, о котором Страхов говорит в своих воспоминаниях, бесспорно,

действовал в его лице на предрасположенную и богато одаренную натуру; обстановка же семинарская очевидно не могла ей дать той духовной пищи, которой требовала природная пытливость его ума. Под влиянием этих обстоятельств Страхов решил обратиться к источнику обширных и общих знаний — к университету. То свободное от учебных занятий время, которого так много оставалось в семинарии, будущий писатель посвятил на осуществление своей мысли и сам, без всякой посторонней помощи, успел подготовиться к экзамену. Осенью 1844 года он был вызван дядею в Петербург и с января 1845 года зачислен вольнослушателем по камеральному (соответствовал теперешнему юридическому) факультету, а в августе того же года держал вступительный экзамен и поступил студентом на математическое отделение. «Мне хотелось собственно изучать естественные науки, — пишет Страхов в «биографических сведениях», — но я поступил на математику, как на ближайший к ним предмет, чтобы иметь возможность получать стипендию, и получал ее — по 6 рублей в месяц». Но так дело продолжалось только год. Страхов рассорился со своим дядей, а тот нажаловался на него попечителю, и в результате Страхов лишился и стипендии, и приюта. Без всякой помощи пробился он кое-как полтора года, запустил свои занятия и решился, наконец, перейти в главный педагогический институт на казенный счет.

Недолговременное и грустное пребывание в университете имело, однако же, огромное значение для юноши, начавшего свою умственную жизнь в глухой провинции.

«В знаменитом университетском коридоре мне доводилось слышать то рассуждения о том, что вера в Бога есть непростительная умственная слабость, то похвалы системе Фурье и уверения в ее непременно осуществлении. А мелкая критика религиозных понятий и существующего порядка была ежедневным явлением. Профессора редко позволяли себе вольнодумные намеки и делали их чрезвычайно сдержанно; но товарищи сейчас же объясняли мне смысл намеков. Один из университетских моих приятелей был очень хорошим моим руководителем в этой области. Он объяснял мне направления журналов, растолковал, какой смысл придается стихотворению «Вперед, без страха и сомненья», рассказывал суждения и речи более зрелых людей, от которых сам научился своему вольнодумству. Таким образом, уже тогда я вполне познакомился с этою сокровенною мудростью, и, когда, спустя десять или более лет, она стала все ясней и громче высказываться в литературе, она уже ничуть не была для меня новостью. Говорю, конечно, о самом принципе этого направления, о немногосложной формуле отрицания. Символ веры отрицателей, как известно, очень прост и иногда состоит лишь из двух кратких членов: Бога нет, а царя не надо. Отрицание и сомнение, в сферу которых я попал, сами по себе не могли иметь большой силы. Но я тотчас увидел, что за ними стоит положительный и очень твердый авторитет, на который они опираются, именно — авторитет естественных наук. Ссылки на эти науки делались непрерывно; материализм и всяческий нигилизм выдавались за прямые выводы естествознания. И вообще твердо исповедывалось убеждение, что только натуралисты находятся на верном пути познания и могут правильно судить о самых важных вопросах. Итак, если я хотел «стать с веком наравне» и иметь самостоятельное суждение в разногласиях, которые меня занимали, мне нужно было познакомиться с естественными науками. Так я и решил сделать, ни за что не отступать от своего решения и понемногу привел его в исполнение. Хотя математический факультет — ближайший к естественному, мне очень жаль было такого отклонения от прямой линии. Но дело потом поправилось».

Таковы первые два существенно важные жизненные решения будущего писателя: поступление в университет и выбор факультета. Нельзя не признать в них обоих характернейших особенностей умственного склада Страхова: в делающем первые шаги юноше мы вполне узнаем того умудренного опытом и горем старца, которого так недавно опустили в могилу. Анализ и изучение умственных авторитетов, воинствующие утверждения которых нарушают стройность установившегося в душе мировоззрения, эта «борьба с Западом» в защиту «мира, как целого», уже сказываются в независимых решениях юноши. В намерении посвятить себя изучению именно того, что грозит душевному миру и дорогим идеалам, слышится готовность ума к высшему беспристрастию, готовность отказаться от идеалов, но только если они вполне и несомненно опровергнуты, и притом только заменив их новыми, неопровержимыми идеалами, до тех же пор неотступно держаться за те, которые любовно усвоены душою. В отношении к последним он сразу ставит себя и затем в течение всей своей деятельности остается как бы в положении юриста, защищающего владение независимо от вопроса о собственности. Наконец, в его решениях мы прямо узнаем его отношение к науке, которое характеризует всю его сорокалетнюю литературную деятельность. Выйти из семинарии и поступить в университет его побуждает не разлад с окружающим миром, не недовольство средою, но чистая жажда знания, притом жажда совершенно неопределенная: он не сразу находит свои научные интересы, колеблется в выборе факультета. Тот естественный патриотизм, которым он был проникнут с детства, внушает ему вначале намерение изучать политические науки, и он поступает на камеральный (юридический) факультет; но вскоре уязвленное религиозное чувство влечет его в стан враждебных авторитетов и не как обезоруженного пленника, но как пытливого и беспристрастного разведчика. Таким образом, наука является не основным элементом его мирозерцания, а только школой и поприщем умозрения; наука — мастерская, но не храм его духа. «Наука есть дело великое, — писал он⁷, — хотя и не наилучшее и не наивысшее из человеческих дел».

И вот, исходя еще в юности из этой точки зрения, Страхов своим выбором факультета как бы практически разрешил один из важнейших вопросов всякого умозрения — вопрос об иерархии задач духа. Так как разрешение этого вопроса всецело обуславливается самой основной сущностью мировоззрения каждого мыслителя, то здесь необходимо, по естественной связи дела, выяснить, по крайней мере, в главных чертах, эту основную сущность мировоззрения Страхова.

Основной, положительной критерий, который подымал этот тонкий и глубокий ум выше философии и науки, сводился к стройному и гармоничному нравственному идеалу, который сам Страхов характеризовал понятием **святости**. Познание не являлось для него мерилom бытия, а лишь одним из его соподчиненных элементов, одним из поприщ применения иного, высшего мерилa. Задача земного существования — внутреннее совершенство, внутренняя цельность духа, достигаемая не отдельными моментами, а, так сказать, всем планом деятельности и жизни. Мало для этого справедливости, мало милосердия: предельная вершина бытия может быть достигнута человеком только в святости. «**Святость** именно в том и состоит, — пишет Страхов, — что человек становится выше своих желаний, своей природы и выше смерти и всякого страдания. Это полная чистота души и полная преданность воле Божией. Когда у человека нет своих желаний, нет заботы и страха, он смотрит на все, как бесплотный дух, он стоит на точке зрения **вечности**; тогда он как будто «вновь рождается», и в душе его открываются источники лучшей жизни, вполне чистых чувств и сил. Болезнь, страдания и смерть составляют для такого человека только повод и побуждение подняться в область святости, отрешиться от себя и от мира. Ищущие святости часто с радостью встречают эти поводы и даже ищут всяких лишений, чтобы воспитывать в себе дух чистоты»⁸. Этот «дух чистоты» — вот высшее совершенство бытия в глазах Страхова. Стремление к такому же идеалу находил он, между прочим, в основе всей художественной деятельности графа Л. Н. Толстого и в этом стремлении видел ее главное достоинство, ее главную силу.

«Всем теперь очевидно, — писал он⁹, — что, от самого начала, сочувствия Толстого устремлялись к **простому и доброму**, что эта освобожденная душа, умеющая видеть жизнь не в отвлеченных формах и не с частных точек зрения, а во всей ее полноте и цельности, упорно доискивается **истинной жизни** среди всякого рода фальшивых явлений и что она находит ее только в том, что представляет самую чистую нравственную красоту, что бывает просто и смиренно до самоуничтожения и в то же время твердо и спокойно до степени величайшего великодушия. Пусть это называют пантеизмом, или фатализмом, или буддизмом, но, во всяком случае, пусть признают, что это путь, идущий к Богу». Несколькими строками далее он разъясняет еще более широкое значение этого идеала: «Это та самая форма нравственных понятий, которую внушило нашему народу христианство, или, если угодно, та, в которую наш народ воплотил религиозные понятия. Оттого по своему **качеству** он (гр. Л. Н. Толстой) писатель несравненный и единственный, стоящий на высоте, которую теперь нам даже трудно и определить». Эти отзывы, однако же, в той же мере приложимы и к произведениям Страхова, и даже, быть может, в гораздо большей, чем к сочинениям Толстого, если только не упускать из вида глубокой разницы поприщ, на которых они трудились. В особенности необходимо подчеркнуть **народность** такого взгляда на жизнь и, следовательно, возможность противопоставить его, как положительное воззрение, воззрениям если не всех, то подавляющего большинства мыслителей Запада, стремящихся во главу угла положить не нравственный идеал, а умозрения.

Итак, внутренняя уравновешенность духа, а не дознание научной или философской истины составляет венец разумного бытия; вместе с тем, не философия или наука служат этой уравновешенности источником или опорой: они лишь вершины земли, те горные скалы, на которые волен опускаться свободно парящий дух; его равновесие, его жизнь должны быть в нем самом. Знание и наука составляют лишь его свободную отраду, а не мучительный труд в болезненном познании добра и зла.

Мир и его твари были показаны и названы радостному духу Адама до его грехопадения, которое началось с того мгновения, как он решил обосновать на личном умозрении идеалы добра и признаки зла. Ясное дело, что такое опускающееся в мир, а не ищущее в нем опоры мировоззрение должно быть названо по преимуществу религиозным: не в этом ли и разгадка тому, что Страхов один в нашем столетии сумел достаточно глубоко заглянуть в сущность философии Шопенгауэра¹⁰, чтобы уловить в ней скрытое веяние религиозного духа? Заметим, однако же, что религиозность мировоззрения отнюдь еще не предполагает своей неперменной основой какого-нибудь положительного религиозного учения: доказательством может служить та же самая религиозная, но атеистичная система Шопенгауэра. Потому в равной степени для нас не стоит ни малейшей необходимости приводить страховский идеал святости в зависимость с открытым вопросом, тем более что его идеал вполне удовлетворительно мирится с всяким вообще вероучением. С другой стороны, однако же, если мы и оставим этот вопрос открытым, то перед нами возникает другой, не менее существенный — об отношении к этому идеалу самого писателя и причинах обязательности этого идеала. Это отношение, раз Страхов не опирается (по крайней мере, как писатель) в служении своему идеалу на авторитет верховного бытия и нравственного в отношении к нему долга, должно быть признано не столько религиозным, сколько эстетическим. Святость обязательна и необходима потому, что прекрасна. Жизненную силу ее Страхов ищет не в разумности, так как не умозрение кладет основой мировоззрения, и не в долге, ибо не опирается на какие-либо требования религии; следовательно, достаточное основание бытия (т. е. достижения) святости коренится в ее красоте, ибо только с точки зрения подчиняющей волю или интеллект красоты святость может быть признана идеалом самодовлеющим,

WiedieLiebe, wiedasLeben,
WiederSchöpfersammtderSchöpfung¹¹.

Прибавим, вместе с тем, что ни одна строка произведений Страхова не дает повода и права к провозглашению его атеистом, к чему склонны — правда, покуда лишь на словах, а не в печати — некоторые избобличенные им фарисеи.

Следовательно, эстетичность — вот основная черта, коренная сущность мировоззрения Страхова. Не трудно убедиться, что во всех областях человеческого творчества, которые привлекали к себе интерес и внимание Страхова, он всегда был и остался прежде всего и после всего эстетиком. То, что во внутреннем мире человека является уравновешенностью духа, то во внешнем мире представляется нам, как гармоническая или органическая цельность. Естественно, поэтому, что писатель, основное настроение которого составляет этическое равновесие духа, искал такой цельности в мире и в человеческом творчестве, то есть философии, науке и искусстве. Что касается прежде всего мироздания, то свою идею о нем Страхов изложил с редкой для него категоричностью на одной из первых же страниц своей первой по времени книги¹². Вот это место целиком: «**Мир есть целое**, то есть он связан во всех направлениях, в каких только может его рассматривать наш ум. **Мир есть единое целое**, то есть он не распадается на две, на три или вообще на несколько сущностей, связанных независимо от их собственных свойств. Такое единство мира можно получить не иначе, как одухотворив природу, признав, что истинная сущность вещей состоит в различных степенях воплощающегося духа. **Мир есть связное целое**, то есть все его части и явления находятся во взаимной зависимости. В нем нет ничего **самобытного**, никаких **особых начал**, никаких **простых тел**, никаких **атомов**; нет самостоятельных, от века различных сил, нет ничего неизменного, само по себе существующего. Все в зависимости и **все течет**, как говорил еще Гераклит. **Мир есть стройное целое**, или, как говорят, гармоническое, органическое целое. То есть части и явления мира не просто связаны, а **соподчинены**, представляют правильную лестницу, пирамиду, всего лучше сказать — иерархию существ и явлений. Мир, как организм, имеет части менее важные и более важные, высшие и низшие, и отношение между этими частями таково, что они представляют гармонию, **служат** одни для других, образуют одно целое, в котором нет ничего ни лишнего, ни бесполезного.

Мир есть целое, имеющее центр; именно, он есть сфера, средоточие которой составляет человек. Человек есть вершина природы, узел бытия. В нем заключаются величайшая загадка и величайшее чудо мироздания. Он занимает центральное место по всем направлениям связей, соединяющих мир в одно целое; он есть главная сущность, главное явление и главный орган мира. Вот несколько общих положений того взгляда, который развивается в (настоящей) книге («Мир как целое»). Главное содержание ее состоит, впрочем, не в картине мира, изображенной с этой точки зрения, а в таком анализе явлений природы и учений естественных наук, который показывает, что **мир как целое** есть главная руководящая идея в исследовании природы, та мысль, к которой необходимо приводить правильный ход науки в каждом частном случае».

Относительно эстетичности воззрений Страхова на философию, науку и искусство не приходится говорить в данном случае особенно подробно, так как ниже эти воззрения будут развиты с надлежащею полнотой. Под крылом науки мир представлялся ему таким же стройным и гармоническим целым, как любое произведение художественного творчества. Самая наука являлась перед ним как художественное целое, перед которым он стоял в качестве зрителя, желающего охватить это целое одною стройною мыслью. Даже в области философии он относился к системам как к «лирическим поэмам», как к «готическим соборам»¹³, считая, что в каждом из этих храмов позволительно людям поклоняться вечной единой истине. Нечего и говорить, разумеется, о той стройности и цельности, которых он искал и находил в эстетической по преимуществу области духовной деятельности человека — в искусстве. Но даже и тут, в области, например, русской художественной литературы, он примкнул к наиболее цельному и стройному на нее взгляду — к «органическому» воззрению Григорьева¹⁴. «Аполлона Григорьева мы считаем лучшим нашим критиком, — писал Страхов¹⁵, — действительным основателем русской критики.

Ему принадлежит единственный существующий у нас **полный** взгляд на русскую литературу, то есть взгляд, объемлющий одною мыслью все ее явления и направления, — взгляд, верный до сих пор¹⁶, блистательно подтверждаемый такими произведениями, как «Война и мир». — Одним словом, **эстетичность**, как положительное основание мирозерцания Страхова, не нуждается в дальнейших разъяснениях; совсем иначе обстоит дело с **критическим** элементом его ума и воззрений. Однако же промежуточным звеном между этими двумя сторонами его умственной деятельности является самый характер этой деятельности, именно — пассивный, созерцательный, а не творческий. Искатель **прекрасного единства и прекрасной стройности** — одним словом, **цельности жизни**, Страхов не был инициатором, руководителем, творцом ни в жизни, ни в науке, ни в философии, ни в искусстве. Потому, не будучи в состоянии самопочинно привнести в мир наиболее себе созвучный художественный элемент существования, он ограничивался тем, что везде и во всем его искал. Как эстетик, он не столько **участник**, сколько **зритель бытия**. Среди других мыслителей, поэтов и ученых он является каким-то аскетом, отшельником, который своего слова не вставит в шумный поток мирских речей и суждений, но все выслушает, все запомнит и все переживет потом в тиши своего уединения. Этим созерцательным духом умозрения объясняется одна из характернейших особенностей Страхова — его **объективизм**, его крайняя нелюбовь к общим взглядам, к широким обобщениям, к схематизму, классификациям и окончательным выводам. Как истинный эстетик, Страхов всегда брал предмет своих суждений самим по себе, единым и цельным, как картину художника, как живой организм, как физическое тело. «Как вы это все широко захватываете!» — говаривал он нередко. «В этом изобилии мыслей ужасно много опасностей и трудностей. Я так всегда предпочитаю избрать одну какую-нибудь мысль, но зато исчерпать ее с совершенной точностью и полнотою. Лучше ясно и убедительно изложить одну мысль, чем напутать десяток так, что читателю в них совершенно не разобраться». Таков он был во всем решительно: последовательный, медлительный, исчерпывающий вопросы по всем их частностям и подробностям. Между тем объективизм вообще неразрывно связан с аналитическим расчленением предметов исследования. В бесконечном

разнообразии мироздания слишком легко затеряться тому, кто не избирает мельчайших по возможности единиц наблюдения, чтобы их наблюдать уже как самостоятельные целые. Таким образом, ясно, что, будучи эстетиком в положительных сторонах своего мышления, Страхов, в силу созерцательного характера этого мышления, непременно должен был оказаться критиком в сторонах отрицательных. Так оно и было на самом деле.

Трудно себе представить более безжалостного скептика, более смелого и последовательного отрицателя, более грозного разрушителя, чем этот благодушный эстетик-созерцатель. И в этой противоположности нет ничего удивительного и нестройного; наоборот, трудно себе представить более цельный и последовательный ум, чем у Страхова. Искатель цельности и единства, он не только предполагал их в совокупности явлений и суждений, но требовал их от всего объективно сущего, от всякого суждения, всякой идеи, всякого умозаключения, всякой системы, притом требовал единства как внешнего, так и внутреннего, как эмпирической, так и априорной цельности и устойчивости. Малейший недостаток в этом отношении он непогрешимо и болезненно чувствовал, как музыкант фальшивую ноту одного инструмента в грохочущем оркестре, и как тот прямо называет и сфальшививший инструмент, и неверно взятую ноту, и ту, которую бы следовало взять, так Страхов безошибочно подчеркивал во всяком суждении каждый его диссонанс, мельчайшую несогласованность с самим собою. Притом, как истинный эстетик, он не мерил предметов своего анализа какой-нибудь готовой, предвзятой системой или меркой, но всегда обращался к их внутренней сущности взятых самих по себе, стараясь во всем судить совершенно объективно. Для такой критики и не нужно никакой положительной догмы.

Она прямо идет к центру своего предмета, а в полемике — в лагерь противника, и борется с ним там его собственным оружием, меряет его собственной меркою. Она вынуждает противника не опровергать ее исходные точки, но защищать все время свои собственные. Этой особенностью между прочим объясняется, что противники Страхова все требовали от него какого-то «знамени»; но знамя нужно полководцу, руководителю масс; а зачем знамя Страхову, изнутри сокрушающему громаду вражеского храма и погребаящему под его развалинами всю боевую силу враждебного народа? На таких развалинах уже не трудно будет водрузить знамя победы тем, кто его имеет. Например, доказать, что материализм и нигилизм не суть учения или системы, а лишь формы философского невежества, значит, нанести им смертельный удар, значит, именно сокрушить изнутри храм Дагона¹⁷; и допустим даже, что его сокрушил слепец: неужели храм оттого менее разрушен? А с другой стороны, каждый может воцариться над этими развалинами, даже не тот, в чьем обладании ковчег завета.

На основании сказанного можно бы было, по-видимому, заключить, что если деятельность Страхова есть чистое разрушение, то она-то и представляется лишь тончайшим проявлением того самого нигилизма, против которого он столько боролся. На самом деле, такое мнение нередко и высказывается. «Ваш Страхов — нигилист», — приходилось нам слышать не однажды по поводу нашей характеристики его критического отношения к миру. Но, разумеется, этот взгляд ошибочен. Нигилист — тот, кто отрицает истину, а не тот, кто не верит в чужие мнения. Нигилист не тот, кто не признает ученых и учений, а тот, кто не признает науки. Нигилист не тот, кто не признает философских систем, а тот, кто не признает философии; не тот, кто не признает партий, а тот, кто не признает государства; не тот, кто отвергает те или иные произведения искусства, а тот, кто отвергает искусство. А быть нигилистом нигилизма — это, конечно, лишь пустая игра слов. Да и, наконец, в области философии Страхов склонен был условно, *provisorisch*¹⁸, как говорят немцы, признавать философскую систему Гегеля¹⁹.

Такое «условное признание», разумеется, непозволительно для философа в строгом смысле слова; но оно — черта эстетика, который признает одно создание искусства более совершенным, чем другие, воплощением идеала красоты; который признает известную философскую систему наибольшим, сравнительно с другими, приближением к истине. В гегельянстве же бесспорно эстетик в смысле Страхова найдет наибольшее совершенство, встречая в нем и единство всеобъемлющей стройности, и строгое диалектическое установление и развитие понятий. По связи мыслей не будет неуместна здесь оговорка, что крайне ошибочно весьма ходячее провозглашение Страхова гегельянцем. Совершенно справедливо, что Страхов жил после Гегеля, и знал, и изучал его произведения, даже увлекался ими; но и до Гегеля, как и после Гегеля, основной сущностью философии была незыблемая вера в науку и в самое себя, основным методом — диалектическое развитие понятий, основным настроением — пантеизм. Нельзя же называть эвклидистами всех геометров и ученых, применявших геометрический метод, или христианами тех мыслителей древности, в чьих произведениях сказывались аналогичные христианским воззрения. Метод Гегеля есть вообще чистейший метод научного умозрения, всеми мыслителями применявшийся и Гегелем не открытый или выдуманный, а только формулированный. Равным образом, и пантеизм, и известный рационализм вовсе не составляют еще специфических особенностей гегелианства. Именно поэтому, признавая заслуги Гегеля и их высокое значение, Страхов отнюдь не был гегелианцем, как и вообще не принадлежал во всю жизнь ни к какой школе, ни к какой партии. Эта особенность была в нем непосредственно обусловлена его эстетико-критическим отношением к миру. Та цельность и внутренняя стройность, которой Страхов требовал и от систем, и от понятий, крайне редко свойственна учениям какой бы то ни было школы. Каждая школа всегда группируется около какого-нибудь первоначально чисто личного воззрения, постепенно искажая и затемняя его поправками, оговорками и дополнениями. Личные же воззрения, вполне цельные и стройные биографически, нередко бывают крайне противоречивы и неустойчивы догматически. То, что понятно и даже любезно в учителе, что в нем искренно и необходимо, то нередко становится несносной, слепо подражательной манерностью в учениках. Потому для творчески

мыслящего ума всегда предстоит или быть особняком, вырабатывать свое личное учение и собирать около себя учеников, или примыкать к какому-нибудь налично существующему учению. Для ума же созерцательного широта его воззрений служит препятствием уместиться на прокрустовом ложе готовых мнений, а их инертность затрудняет выработать что-либо самостоятельное. Потому они постоянно подвержены величайшей опасности — впасть в эклектизм. Страхов был чрезвычайно редким исключением в этом смысле, так как менее всего поддавался склонности к эклектизму. Эклектизм ведь все же есть сочинение некоторого символа веры, изобретение школы с **удобным** учением. Между тем Страхов во всех областях, в которые увлекала его природная любознательность, являлся не творцом, а зрителем, не писателем, а читателем, даже не критиком, а знатоком — «эстетическим сластолюбцем», как он сам однажды выразился²⁰, предпочитая, таким образом, одинокое служение истине массовому служению догматам. А будучи ценителем чужих понятий и разоблачая, при надобности, их несогласованность или внутреннюю неустойчивость, он тем самым оказывался чаще всего спорщиком, **полемистом**. Между тем в полемике эстетический объективизм Страхова чрезвычайно затруднял тех, кто покушался опровергать его критический анализ, но не встречал в нем никаких априорных положений, исходных догматов. Этим и объясняются вопросы о «знамени», о том, «что такое г. Страхов» и провозглашения его то пантеистом, то материалистом, то метафизиком, то буддистом, то, наконец, просто «филозо́фом» — название, по словам Салтыкова²¹, на бараньем языке весьма обидное.

Для полноты характеристики нам остается рассмотреть отношение Страхова к достоверности, к истине. В области познания непозволительно прилагать эстетическую мерку; но бесспорно эстетичность возможна и в умозрении, по крайней мере, в тех требованиях, которые мы предъявляем к умозрительным построениям.

Искать в них внутренней и внешней цельности и единства значит в сущности требовать от них последовательности и логичности, точности определений, заключений и выводов. Логика — художественность умозрения; художественное всегда логично, и в логичности бесспорно силен элемент художественности. Потому, в связи с общим характером своего мышления, Страхов в своей философской и научной критике всегда придерживается диалектического метода, выставления и развития точных понятий. Всякое построение он, прежде всего, разбивал на его составные элементы и проверял его устойчивость, исходя из основных положений. От речи он, прежде всего, требовал грамматической точности и правильности, от терминов — определенности и ясности, от суждений — категоричности и достоверности, от заключений — верности посылок, от науки — безусловных, вечных истин. «Непреложные истины составляют самое ядро науки, ее существенную и центральную часть. Это — лучший образец нашего познания, который поэтому составляет цель и правило всяких научных исследований. Всякие обобщения делаются и всякие законы отыскиваются только в той надежде, что мы посредством их приближаемся к некоторым незыблемым положениям, что все многообразие и разноречие явлений со временем будет нами подчинено непреложным истинам. Стремление к такому подчинению есть главный нерв науки»²². «Притом эти истины в его глазах вовсе не факты, вовсе не эмпирические познания, а положения вполне или отчасти формальные, которые потому и справедливы всегда и безусловно, что не захватывают собою сущности вещей»²³. И вот централизация всех суждений научного характера около этих безусловно убедительных вечных истин и составляла у Страхова его основной критический прием. Объективист и созерцатель, он никогда не пускался в отважные самостоятельные построения; он всегда имел дело с наличными чужими рассуждениями и, как архимедовым рычагом, сокрушал их «вечными истинами» в центральном пункте их мнимой устойчивости. Потому ослепить, затемнить его было невозможно никаким авторитетом, никакою внешнею красотой систем или воззрений; но и там, где это случалось, Страхов нимало не колебался пожертвовать самыми дорогими для него увлечениями и верованиями, как то было, например, в его отношении к Тургеневу²⁴. Эта героическая готовность

пожертвовать всяким мнением истине и вызвала упреки Страхову в **равнодушии к истине** со стороны фантазеров догматики, склонных видеть воплощение истины в каждом легковесном произведении своей фантастически догматизирующей мысли.

Вот в самых общих чертах основная сущность мировоззрения Страхова, так сказать, душа его произведений. Ввиду величайшей важности изложенного для всего дальнейшего, бесполезно будет дать краткое резюме предшествующих рассуждений. Главной чертой Страхова является эстетичность его воззрений и искание в трансцендентальной истинной сущности бытия. Наибольшее к этой сущности приближение достигается в верховном этическом идеале святости, который притом не обосновывается ни на какой религии, ни на какой теософии. Эстетичность же умозрений Страхова сказывается более всего в искании цельности и стройности, как в мире, так и в духе и творчестве человека. Однако же это искание отнюдь не является творческим, а чисто созерцательным, чем обусловлены величайший его объективизм и критическое направление. Критический анализ Страхова притом отнюдь не является ни чистым разрушением, ни применением каких-либо догматических критериев: это совершенно самобытный, чуждающийся всякой школьности, анализ, опирающийся исключительно только на логику и «вечные истины». Притом этот анализ — воплощенная искренность, проникнутая величайшим беспристрастием и готовностью во всякое время пожертвовать каждым мнением и суждением, которое приходит в противоречие с самим собой или своими основаниями. Это стройное мировоззрение принадлежит пытливому, упорному духу, трудно мыслящему и приходящему к окончательным заключениям, крайне восприимчивому, но в то же время удивительно устойчивому.

И всех этих особенностей нельзя не признать, хотя бы в эмбриональном виде, в решении учащегося юноши посвятить свое внимание именно той области знания, которая наиболее угрожает его лучшим и самым дорогим идеалам.

III.

Итак, под гнетом нужды Страхов решил перейти из университета на казенный счет в Главный Педагогический институт²⁵, чтобы только не отказаться от своих занятий естествознанием. Однако же от этого перехода он оказался даже ближе к своей цели, чем подошел бы к ней в университете. Курс наук в институте был двойной против университетского, совмещая в себе предметы математического и естественного факультетов. К тому же Страхов перешел в институт в его самую блестящую пору, в январе 1848 года (там курс наук начинался в январе), когда директором института как раз был назначен И. И. Давыдов²⁶, а в числе профессоров находились столь выдающиеся ученые, как Брандт²⁷, Остроградский²⁸, Савич²⁹, Шиховский³⁰ и другие. Впрочем, этот переход имел и свою оборотную сторону, был важным и весьма решительным шагом: поступая туда на казенный счет, Страхов тем самым обрекал себя на обязательную восьмилетнюю элементарно-педагогическую службу, несмотря на то что в нем уже вырабатывалось намерение посвятить себя академической научной деятельности. Между тем каждому, кто испытал это на себе, известно, что совмещение служебных обязанностей, в особенности педагогических, с подготовкою к ученой степени, можно сказать, превышает силы человеческие и способно надорвать дюжинную натуру, не только нервный организм более тонкого закала. Изнемог под этим двойным бременем и Страхов. Кончив курс в Главном Педагогическом институте в августе 1851 года, он поехал старшим учителем физики и математики во 2-ю одесскую гимназию. Между прочим, при окончании курса им была написана его единственная работа по математике, «Решение неравенств первой степени», впоследствии (в 1864 г.) напечатанная в «Журнале министерства народного просвещения», в которой он излагает три найденные им алгебраические теоремы. «В 1852 году я перепросился в Петербург, — сообщал Страхов в своих «биографических сведениях», — на только что учрежденное в гимназиях преподавание естественной истории.

Тогда было гонение на классицизм, а естественные науки считались невинным и возбуждающим богопочтение предметом. Девять лет я учил этому предмету во 2-й С.-Петербургской гимназии. После десяти лет службы я не только отслужил весь срок за казенное воспитание, но еще получил при отставке годовой оклад — 630 рублей». К этой же эпохе педагогической службы и приготовления к экзамену на магистра относится и появление в печати первых опытов Страхова летом 1855 года: это были юмористическое стихотворение, пародия на пьесу Майкова, напечатанное в «Современнике»³¹ в одном из фельетонов Панаева³², и рецензия на учебник естественной истории Д. С. Михайлова, написанная по просьбе автора учебника для «Северной пчелы». Впрочем, и стихотворение, и заметка были в глазах Страхова, по его словам, «делом случайным», так как предстоявший магистерский экзамен поглощал тогда собою все его внимание. В 1857 году он успешно выдержал этот экзамен и защищал диссертацию на тему, данную ему его бывшим профессором, знаменитым Ф. Ф. Брандтом: «О костях запястья млекопитающих»³³. Указанная выше чрезмерность двойной работы сказалась, однако же, в том, что, преодолев все главные затруднения, сдав утомительный экзамен и напечатав замечательную по полноте и точности методических требований диссертацию, Страхов потерпел неудачу на самом последнем, в сущности пустяшном и притом чисто формальном, препятствии: именно, при всей несообразности сделанных ему возражений и на признание даже за ним ученой степени магистра, защита им диссертации была так плоха, что его многие считали провалившимся, и ему было неудобно добиваться кафедры в Петербурге. Вслед за тем в Москве при замещении кафедры, открывшейся за смертью профессора Рулье³⁴, ему предпочли А. Богданова, а в Казань, куда его звали, он сам не согласился ехать.

Таким образом, цель многолетних усилий и трудов не была достигнута, и профессура оказалась Страхову недоступной. Но тот, кто испытал однажды потребность в аудитории, уже не может оставить этой потребности без удовлетворения и, за невозможностью иметь слушателей, начнет искать себе читателей. Так было и со Страховым: «Письма об органической жизни», которые были им помещены в 1858 году в еженедельном журнале «Русский мир», выходившем под редакцией Стоюнина³⁵, сам автор считал «настоящим вступлением в литературу». Эти письма составляют теперь начальные главы его книги «Мир как целое», про которую сам автор писал, едва ли, впрочем, справедливо в отношении других своих произведений, в предисловии к ее второму изданию: «Наполовину с отрадой, наполовину с грустью мне пришлось убедиться, что лучше я ничего не писал». Статьи имели успех и обратили на себя внимание Григорьева, знакомство с которым Страхова состоялось немедленно по их появлении. Это знакомство замечательного русского критика со своим впоследствии достойным продолжателем имело огромное значение для последнего и потому для истории русской критики вообще. Жаль ввиду этого, что Страхов не успел при жизни переиздать своих воспоминаний о Григорьеве, появившихся в «Эпохе»³⁶ 1864 года, тем более что не раз обещал знакомым включить их в свои «Воспоминания и отрывки», когда понадобится их второе издание.

Хотя таким образом в область самостоятельной жизни и, в частности, на литературное поприще Страхов первоначально выступил представителем естествознания, однако же естественные науки никогда не составляли его коренного, задушевного призвания. К занятиям ими он был первоначально приведен желанием выйти из тех сомнений, в которые повергли его разногласия мнимых выводов естествознания с его политическими и религиозными воззрениями. Таким образом, интерес его к естественным наукам был, так сказать, отрицательный, эристический, и знакомство с ними должно было являться для него лишь переходным моментом в выработке его идеалов, очевидно не будучи в состоянии наполнить собою всю его умственную жизнь.

Так оно и вышло на самом деле, хотя «переходный момент» и оказался очень продолжительным: только в середине семидесятых годов, т. е. уже на пятидесятом году жизни, по словам Страхова в «биографических сведениях», «он решил, что он урожденный словесник: естественные науки не увлекали его, а всякий успех в языках неизгладимо оставался в памяти». Тем не менее в области естествознания Страхову удалось сыграть такую многозначительную и богатую неисчислимыми последствиями роль, какая достигается на долю только первоклассным умам человечества. Нет ничего удивительного в том, что влияние произведений Страхова до сих пор мало заметно в естествознании: это влияние еще всецело принадлежит будущему. Обращаясь, однако же, к выяснению значения Страхова в области точных наук, поневоле приходится предпослать ему разбор философской деятельности Страхова: так она тесно связана с его научными трудами, и так неразрывно было у него, биографически, изучение естествознания и философии.

Мы находимся у центра настоящей статьи, придя к необходимости выяснить положение Страхова в области философии. Но такое выяснение возможно только при точном определении, что именно следует подразумевать под понятием философии. Отвлекаясь от отдельных философских систем, учений и направлений и имея в виду сущность философии по ее содержанию, мы должны будем определить ее как теорию духа, в самом широком смысле последнего слова. Дух человеческий очевидно объемлет в себе, как в целом, все внутренние способности и свойства человека, т. е. и его познание, и умозрение, и волю, и ощущения и чувства, словом, принимается нами в обширном декартовском смысле. При таком определении философии нам понятно возникновение в ее недрах и метафизического направления, т. е. искания крайних пределов человеческого познания, и критической школы, посвятившей свои усилия теории познания, и так называемой реальной школы, исходящей из психологических понятий, и материализма даже, стремящегося почерпнуть основания теории духа в учении точных наук о материи и силах.

Далее, при этом определении философия всего теснее приближается к достижению своей исконной цели — самопознанию духа. Нельзя не указать на то, что выписанное нами выше <...> рассуждение Страхова о религии очень близко подходит к такому определению, даже начертывает нам его верховный идеал, т. е. религия опирается в своих утверждениях на чисто волевое, а не умозрительное основание, именно — на веру. Если устранить это основание, то философия, как теория духа, возникает как вопрос, вновь открытый на месте вопроса, исчерпанного религией. Мало того, даже верующий дух не может, да по смыслу всех религий и не должен удовлетворяться одною верою, ибо человеку свойственна, помимо потребности в добре, удовлетворяемой по предначертаниям религии, еще и потребность в истине и красоте. Даже наиболее верующим и религиозным людям свойственна склонность к науке и искусству. Наконец, в отношении к миру вера дает решимость и силы твердо выносить мучительное бремя земного существования, но не дает полного примирения с миром. Нравственная стихия человека не признает родства с безразличною природою; совершенно иные настроения порождают стихии умозрительные и эстетические, т. е. наука и искусство. Знание учит наш разум примиряться с миром во всей его несправимости, ибо иначе, чем мы познаем и понимаем мир, он и существовать не может; наука убеждает нас, что все, что случается, должно было с неотразимой логичностью случиться именно так, как случилось, и случиться иначе могло бы только в нарушение законов мира. Эта примирительная роль познания особенно ярко была почувствована Лейбницем³⁷, в своей знаменитой теодицее, провозгласившим наш мир лучшим из существующих, мысль, истинное содержание которой сводится, аналогично с гегелевским положением, что «все действительное разумно и все разумное действительно», к тому, что наш мир есть единственный логически несомненный из возможных. Искусство же примиряет с миром мятежный человеческий дух, открывая ему красоту мироздания

и тем самым доказывая, что мир не есть зло, хотя и лежит во зле, так как зло не может быть прекрасно в своей безусловности и, следовательно, не может составлять основы того мира, который может быть прекрасен.

Таким образом, знание и искусство — вот, после религии, два составных элемента духовного мира человечества, почерпывающие, наряду с этикой и психологией, содержание философии, теории духа, теории умозрительной, тогда как непосредственной волевой теорией его является религия. Но выше <...> было уже указано, что религиозные вопросы Страхов, как писатель, умышленно оставлял всегда в стороне, и потому при выяснении его мировоззрения они также не должны быть подымаемы, как и все другие личные вопросы его совести. Обращаясь же к философии Страхова, мы должны установить его отношение к области знания, выяснить его воззрения на научную истину. В названной области его роль всецело определилась тем, что он был эстетиком, критиком и объективистом. Созерцая жизнь и дух как целое он не впал в заблуждение, столь свойственное многим даже величайшим умам человечества, которые именно в силу своего умственного величия склонны разум, дознание истины, полагать во главу угла своего мировоззрения и, всецело уходя в его сферу, не находят полного удовлетворения в односторонне рассматриваемой ими жизни. Напротив, Страхов сразу увидел, что наука — лишь одна из нескольких задач духа, не могущая сама по себе дать ему полного удовлетворения. «Не только питаюсь естественнонаучными познаниями, — писал он, — но, поглощая и всякие другие, мы можем оставаться совершенно голодными. Нас не удовлетворяет подведение явлений под рациональные формы, и мы враждуем против мысли о полной рациональности мира»³⁸. Таким образом, он особенно ясно сознал и выразил, что познание не исчерпывает собою загадки бытия, не отвечает на все запросы духа. Его предмет — рациональные формы явлений, которые вполне разъясняются лишь всею совокупностью наук, и в том числе, разумеется, теорией познания и познавания, т. е. гносеологией и логикой, включая в последнюю методологию.

И вот в этих последних, узких и тесных, пределах Страхов и принимал философию, т. е. придерживался взгляда на нее как на центральную науку, как на «наукословие», *Wissenschaftslehre*³⁹ Фихте⁴⁰. В своих произведениях он никогда не брал философию в полном, широком объеме ее, никогда не строил на философских основаниях ни этики, ни эстетики, словом, как объективист, не вдавался в *desiderata*⁴¹ философии, а держался ее наличных, положительных приобретений, сводящихся в существе дела к начаткам теории познания и начаткам же методологии. Но зато этим небольшим капиталом он пользовался с изумительным мастерством и глубиной. Около него он собирал все точные науки и, освещая ими мироздание, строил свою широкую концепцию мира как целого. Эта концепция, разумеется, является не естественнонаучным, а чисто философским понятием.

Что такое мир сам по себе — того человеку не дано знать. Мир является целым для религии, для науки, для искусства, но всегда при условии сосредоточения этого целого около сознательного центра — человека. Религия, полагая в основание бытия верховную разумную волю божества, так сказать, извне мира предоставляет центральное в нем положение человеку. С точки зрения всякой религии мир создан для человека или закончен человеком, что, в сущности, одно и то же. Эта точка зрения совершенно ясна и проста; но она цельна только изнутри себя самой, так как ее достоверность не предусматривает нерелигиозного, неверующего человека, того, который пожелал бы построить свое миропознание на чисто рационалистических основаниях. Такое воззрение может, очевидно, рассматривать мир только как познаваемое, т. е. исходит из познающего начала, разума, разумного человека, который, следовательно, и с философской точки зрения, как с религиозной, является централизующим мир первоначалом. Не углубляясь дальше в анализ этого сходства, необходимо, однако, здесь же указать и на существенное различие мировоззрения религиозного и философского. Опираясь на нематериальные начала, религия освобождает человека от материи и ее законов, освобождает дух от плоти, в том смысле, что законы ее должны уступать в случае коллизии законам духа, и, таким образом, указывает человеку этическую роль в мире.

Напротив того, философия ставит человека в центр мира, как бы изнутри освещающим храмину природы фонарем разумного познания, и призывает человека на поприще созерцательное. Религия исходит из верховной творяще-правлящей воли и указывает человеку на его творческую, привходящую роль в мире; философия же опирается на самый разум человека как на ключ мира и потому предназначает человека к пассивной, имманентной миру деятельности. Религия включает в себя философию, даже независимую от ее догматов; напротив того, философия исключает и отвергает религиозное познание мира. Религия всеобъемлюща, как мир, и принимает в себя все элементы духа, ни одного не подавляя и все окрыляя; напротив, философия исключительная, как логика, и стремится весь мир и весь дух претворить в себя самое, подвести под свои категории. О мире, как целом, с точки зрения искусства мы, по задачам статьи, считаем возможным не вдаваться в особые исследования.

Согласно предыдущему, философия, полагая разум центром мира, получает возможность и приходит к необходимости рассматривать мир как целое, т. е. как необходимое целое и единое целое. Однако же в области мысли замечалось искони и другое течение, нередко получающее неточное и неподходящее название материализма, которое отрицало или единство, или необходимость мира как целого, т. е. или устраняло из мира разум, как мерку мироздания, или считало цельность мира случайной. В том и в другом случае человек не признавался центром мира и рассматривался, как одно из чисто материальных явлений природы, как случайная зыбь вечного потока слепых явлений. Таким образом, в пределах познания происходил подмен философии естествознанием, т. е. устранялась исходная точка и заменялась несколькими ее частными следствиями. В переживаемое нами время уже становится бесполезным доказывать нелепость и противоречивость такого взгляда, представляющего из себя смешение теории познания с физиологией мозга и теории духа с теорией материи.

Но еще середина истекающего столетия была эпохой, можно сказать, всемирного торжества этой нелепой доктрины, и притом до такой степени, что самое понятие философии считалось совершенно никуда не годным, могущим разве занимать тупиц или смешить уличных мальчишек. Не имея возможности углубляться в исторические причины этого последнего явления, мы считаем, однако же, необходимым наметить их в общих чертах. Материализм XIX века имел двойкий источник: он обязан своими небывалыми дотоле силами частью размаху собственной инерции, частью общему упадку философии. Как инертное течение европейский англо-франко-немецкий материализм насчитывает уже несколько столетий; но до Канта его успехи парализовались великим значением догматического рационализма, господствовавшего на кафедрах и вообще в науке. Кант выступил роковым противником этого направления, строившего философское мировоззрение не иначе как на религиозных основаниях, т. е. исходившего из предположения в человеке трансцендентного, сверхчувственного знания, признававшего сверхопытные сущности и понятия. Кант вернул разум в центр мира, сделал его не посредником, а источником миропознания, словом, вновь совершил подвиг Сократа, «сведя философию с неба на землю». Ясное дело, таким образом, что критика Канта была направлена не на рационализм как таковой, а лишь на наличный в его время догматический рационализм и ниспровергала не философию, а философов. Его критика была направлена против религиозной философии, которая представляет из себя внутренне-противоречивое понятие, как разъяснено выше, ибо философия не может служить источником религии и не может иметь ее своим источником, так как сущность религии — вера, а сущность философии — познание. Сам Кант⁴² понимал свою критику именно в этом смысле, так как, разрушив современные ему метафизические (т. е. сверхчувственные) системы, он издал свои «Предначертания всякой будущей метафизики», т. е. рационалистической системы умознания. Именно так понят был Кант и одним из ближайших к нему по времени последователей — Гегелем,

этим совершеннейшим представителем рационализма из мыслителей, живших после Канта, и родоначальником диалектического, т. е. чисто умозрительного метода, как сознательного принципа. Но не так поняло его наше разочарованное, пессимистическое столетие. Уже Шопенгауэр выводил свою безотрадную философию из учения Канта; уже ближайшие ученики Гегеля вроде Фейербаха⁴³ видели в Канте ключ к отрицанию философии вообще, т. е. рационализма как сущности миропознания. В этом временном ослаблении потрясенной Кантом философской мысли и кроется разгадка успехов материализма: его учения перестали встречать живой и устойчивый отпор, и все, что не было **знакомо** с философией, начало с убеждением **отрицать** ее. Наряду с отрицанием умозрения как системы шло отрицание диалектики как метода. Чувственный опыт и синтез заменили логику и анализ. Наука провозгласила своим основанием факты, а не понятия. Это направление особенно успешно повлияло на прикладную часть наук, на изобретения, обогатившие в нашем столетии человечество неисчислимыми удобствами и улучшениями быта. Наш век — по преимуществу век изобретений, век железных дорог, электричества, фотографии, спектрального анализа. Все эти богатства очевидно нимало не углубляют нашего познания, не раскрывают нам яснее сущности науки; но они необычайно расширяют ее пределы, умножают ее предметы, воистину затмевают славу Колумба, открывшего миру только один Новый Свет. Вся совокупность этих условий и повела к тому, что наука и умозрение точно остановились после критики Канта, как солнце и луна по возгласу Навина⁴⁴. Человечество приостановило углубление знаний и занялось их расширением, стало реализовать капиталы науки, переводя их в усовершенствования быта и удобства жизни. Философия замерла; научные системы отошли в прошлое; их место заняли классификации, наблюдения, обобщения, наконец, отдельные теории и гипотезы. Более того, не удовлетворяемый самим собою, опыт пустился опытным путем в изучение сверхчувственного: появился спиритизм⁴⁵, это забавное заблуждение, к счастью, совершенно безобидное и заслуживающее внимания только потому, что ему поддавались даже люди науки, даже замечательные ученые.

Последовательно проводимый материализм в союзе с гегелевской идеей развития, в которой диалектическая последовательность умозаключений самым простодушным образом была смешана с постепенностью органических метаморфоз и вообще органического совершенствования, был проведен в науку и превратил силлогизмы в организмы в виде так называемой эволюции идей, а с другой стороны, систематическую классификацию живых существ сочтя за исторический их генезис, породил уродливое Дарвиновское учение. Продукты умозрения, т. е. системы, рассматривались, как явления жизни, т. е. ряды метаморфоз: дальше не может идти упадок методического мышления. Прямым последствием всех этих обстоятельств явилась господствующая донныне в умах невероятная путаница, полная утрата **цельности** воззрений. Понятие о мире как целом представлялось нашему столетию какою-то безусловною нелепостью, ничего решительно не выражающего фразой.

Сделанный сжатый очерк прямо указывает положение Страхова в области философии. Он собственно не был философом в строгом смысле слова. Его опорой и основанием, а потому и главным интересом, была не теория духа, но точные науки. В юности религия заменяла ему вполне эту теорию, и биографически он приведен был к философии естествознанием. Разлад мысли с религией, первичный момент всякого философствования, оставался ему чужд. Он первоначально, в своей молодости, не нуждался в замене религиозных воззрений философскими, и теория духа понадобилась ему только, как теория знания; притом же к этой потребности он пришел не из научных занятий вообще, а из одной специальной отрасли знания — естествоведения. Юридические, исторические, филологические, математические науки не играли своими запросами ни малейшей роли в направлении его философствующего ума. Он восходил от данных точной науки до высших положительных начал философии, как бы из основания конуса к его вершине, тогда как истинный философ опускается лучами умозаключений из центра своих гносеологических воззрений, как из светящейся звезды, к любой частности положительного знания.

Он подымался до философии, но не исходил из нее. Этим и обусловлено то, что Страхов не примыкал в ее области ни к одной положительной системе, не создавши в то же время никакого нового учения. Он и в области философии явился критиком-объективистом, не творцом, а искателем положительных учений. Эти положительные учения немногочисленны, хотя многозначительны, и могут быть выражены немногими словами. Познающее «я» не может быть предметом познания; познание имеет своим предметом формы, а не сущность вещей; законы познания суть в то же время законы познаваемого; вот — три исходных пункта его воззрений, дающие в сжатом виде положительное обоснование рационализма. Это не система, а только намек на систему. Притом, интересуясь философией главным образом с точки зрения естествознания, Страхов искал в ней прежде всего методологии. Понятно таким образом, как в философии Страхов остался верен себе самому, везде выступая критиком, искателем положительных, бесспорных начал, отделяя условное от безусловного и всю силу своей диалектики разоблачая условность условного. Среди всеобщего торжества материализма, эмпиризма, наконец, позитивизма — так называется самый плоский материализм, отрицающий вообще теорию духа и строящий мировоззрение исключительно на данных точных наук, — Страхов выступил как диалектик-рационалист; среди всеобщего стремления рассматривать мир **только** с научной точки зрения, он выступил **эстетиком**, признающим самую жизнь мерилom жизни и потому взирающим на науку лишь как на один из формальных элементов жизни; среди общего утилитарного, **изобретательного** направления науки он выступил представителем чистого умозрения, **познавательного** направления. Таким образом, в эпоху упадка философской мысли он выступил критиком и изобличителем этого упадка, не будучи в то же время создателем какой-либо положительной системы.

Он не указывал нового пути, но порицал тот, который избран был человечеством. Он не призывал к рационализму, но отклонял от эмпиризма. Вместе с тем он не находил ни одной положительной системы, к которой мог бы примкнуть, и потому в области философии его критика носила чисто отрицательный характер, кроме методологии, в которой он указывал и постоянно напоминал великое значение заслуги Гегеля. Выражаясь двумя словами, роль Страхова в области философии сводилась к борьбе с материализмом и эмпиризмом. Иначе, во имя философии Страхов отрицал и порицал все философские элементы мышления XIX века, не указывая притом никакого положительного исхода и не пускаясь сам лично в умозрительные построения. Таково содержание и дух его единственной книги, посвященной вопросам философии, одного из последних его изданий по времени, его «Философских очерков».

Все особенности этого отношения к философии отразились и на естественнонаучных трудах Страхова, к анализу которых мы считаем теперь возможным обратиться. Биографически Страхов занялся естествознанием как наукой, выводы которой, казалось, колебали и подрывали его первоначальные этические и религиозные воззрения. Потому, естественно, наиболее интересовавшим его вопросом был вопрос, так сказать, о компетенциях естествоведения, о его объеме и пределах. Материализм, как выше указано, подменял теорию духа теорией материи, вращаясь таким образом в беличьем колесе кругового умозаключения; далее, будучи по существу дела рационализмом, хотя и извращенным, материализм враждовал против религиозного взгляда на освобождающие от законов плоти нравственные законы духа и с чисто рационалистической последовательностью отрицал идею нравственного долга, как начало этики, ставя ее на опытные основания, то есть наблюдениями над логически-несвободной волей пытаясь опровергать учение о свободном нравственном долге.

Эти притязания Страховым были разоблачены с неотразимой убедительностью в целом ряде научных исследований и сочинений, как и всегда у него, не составляющих систематически связного целого, но проникнутых одной общей идеей.

Эта идея может быть выражена тремя словами: **объективная критика науки**. Страхов провел положительное содержание точных наук сквозь горнило своей диалектики, и первым, главным результатом этого явилось в нем ясное сознание того, что наука есть познание только **существующего** и что, следовательно, идеи **должного** и возможного лежат вне ее области. Это сразу вернуло науку в свете его критики к ее истинным задачам и из какой-то разрушительной системы превратило естествознание в «невинное и возбуждающее богопочтение» учение о формах явлений органической и неорганической природы.

Но, верный самому себе, Страхов и это учение рассматривал, прежде всего, как целое, с точки зрения внутренней цельности, связности и соответствия частей. С этой стороны его критике представилось еще более широкое и богатое поприще. Кажущаяся издали таким стройным и устойчивым телом, равняющаяся как будто достоверностью своих положений математике и астрономии, наука о природе представляется более пристальному и внимательному взору только грубо намалеванной декорацией, от призрачного великолепия которой ничего не остается для того, кто перешел черту известного ближайшего расстояния. То, что издали кажется крепостью, вблизи оказываются лишь кулисы; горы и скалы превращаются в зыбкие подмости, заставленные картонами; могущественные обобщения, широкие гипотезы естествознания, его, по-видимому, незыблемые основания и исходные понятия представляются такими же порочными кулисами для внимательного и беспристрастного критика. Такими оказались они для Страхова, и такими показал он их в своих произведениях каждому непредубежденному читателю. Мнимая система мира превратилась в набор наблюдений, достоверных самих по себе, но ничего собою не уясняющих, так как опираются на смутные и неопределенные начала. Именно эти начала-то Страхов и избрал предметом своего анализа, так как именно к началам и должен быть приложен тот диалектический метод, который, если рационализм — душа науки, должен являться как бы ее нервной системой.

С этой точки зрения начал он подвергать своей критике четыре отрасли естествознания — зоологию, физику, физиологию и психологию. Первым двум наукам посвящена книга «Мир как целое», вторым двум — «Основные понятия физиологии и психологии». Первая часть «Мира как целого» посвящена началам учения о человеке, т. е. выяснению самого понятия **жизни** в ее противоположности формальному бытию, и понятия **разумного существа**, т. е. человека как центра мира, как совершеннейшего проявления жизни. Первый вопрос Страхов рассматривает в связи с положением «человек есть животное», второй же — в связи с предположением о существовании жителей планет, как разумных организмов, существенно отличных от человека и притом более совершенных. Блистательным разбором этих положений Страхов выясняет, что жизнь есть совершенствование, в чем, между прочим, находит и разгадку смерти, которая не дает организму **пережить** достигнутого им совершенства, и что разум, как высшее проявление жизни, не может иметь степеней, а следовательно, разумные существа возможны только подобными человеку. Вторая часть главного научного сочинения Страхова посвящена учениям о неорганической природе, содержа в себе критику атомизма, учения о силах и учения об элементах или простых телах. Современные учения о веществе сводятся, как известно, к учению об атомах и силах, представляющему из себя не более как гипотезу, притом, по превосходным критическим разъяснениям Страхова, гипотезу не только несостоятельную, но и ненужную для науки, даже более того, пожалуй, и вредную для нее, так как эта гипотеза подменяет нам **понятие** вещества **представлением** о веществе и сводит все понимание мира на механику явлений, на пространственные и временные отношения. Эта вторая часть «Мира как целого» представляется воистину бесподобным произведением, с такою неопровержимую точностью и почти простодушной общедоступностью изложения разбивающим основные начала современных учений о веществе, какой можно только завидовать или удивляться. Далее, в «Основных понятиях психологии и физиологии» Страхов опять-таки намечает истинные задачи и предметы этих наук в противоположность существующим

в естествознании стремлениям психологию свести на физиологию, а физиологию на физику, т. е. построить все явления мира на механическом учении о веществе. Он указывает, что предмет психологии есть дух человеческий, т. е. чистый субъект, а не та или другая его объективация; равным образом в область психологии входит только субъективная сторона явлений. В физиологии же он видит науку не о функциях организмов, а о законах организации, учение об органической жизни или о развитии, наиболее ясным и знакомым нам типом которого он выставляет психическое развитие, так что физиология в его глазах является наукой о **вещественных формах духа**. Сводя все эти положения к одному общему единству, мы видим, что естествознание, по крайней мере современное, всецело проникнуто стремлением построить механическое учение о мире, т. е. рассматривает мир как случайное целое, и в этом стремлении единство мира находит не в источнике познания — разуме, а в его предмете, т. е. в веществе. Так как, однако же, вещество не дает понятий, а только представления, то современное естествознание поневоле принуждено исходить в своих положениях из представлений, не располагая ни одним твердо и устойчиво выясненным понятием. Естествознание — тело без души, рассыпанная хранина достоверных наблюдений, ничем не объединенная, ни из каких точных начал не исходящая и потому никаких общих выводов не дающая.

Каково же общее значение этой критики естествознания? В немногих словах оно заключается в следующем. Страхов выяснил глубокое внутреннее несовершенство естественных наук, отсутствие в них внутренней цельности, определенных задач и ясных начал. Не связанное внутренним единством научной цели естествознание, как растаявший кристалл, разлилось по всей области умозрения, стремясь напитать все познание своими формами и не сознавая, что эти формы — формы познания и, стало быть, для изучения самого познания вовсе непригодны. Страхов указал на необходимость одухотворить мертвое тело механического естествознания живою водою диалектического умозрения, на необходимость умозрительного творчества в его области; иными словами, указал на необходимость философского анализа начал и понятий естествознания.

Страхов показал, что естествознание разменялось на изобретения, забыло свои высшие задачи в погоне за мелочами и теперь превратилось в какую-то инертную массу сведений, нуждающуюся в одухотворении одним общим началом философского исследования. Наконец, он указал, что одна из главных слабостей науки о природе — ее односторонность, ее, так сказать, самодовольная исключительность, в силу которой представители естествознания специализируются в нем одном и, обольщенные убеждением в его мнимой достоверности, довольствуются узкою областью частного знания вместо всеобъемлющего просвещения. И в этом смысле Страхов является едва ли не единственным истинно **просвещенным**, а не только **ученым** мыслителем второй половины нашего незавидной памяти истекающего девятнадцатого столетия. Перед самомнящими специалистами, из которых каждый убежден, что в избранной им области и находится центр высших интересов человечества, из которых каждый понимает просвещение лишь как сумму знаний и, видя невозможность для себя знать все, желает принести посильную пользу тем, что будет знать и изучать хоть что-нибудь, Страхов воистину является эстетиком умозрения, охватывающим одним взором все значение всей науки в жизни каждого отдельного человека и в жизни всего человечества и потому глубоко и прямо судящим об истинных ее задачах и надлежащих пределах. Познание, то есть философия и наука, лишь один из нескольких элементов жизни; а в частности естествознание не только не есть наука по преимуществу, но даже, наоборот, наименее научная из наук, уродливый набор голых сведений, ничем изнутри не объединенных и не освященных. Если есть область знания, нуждающаяся в коренном пересмотре и преобразовании, то это именно естествознание; оно — хаос, жаждущий одухотворения его единой и могущественной концепцией творческого умозрения.

Нельзя не остановиться в заключение на этой, только что упомянутой, потребности. Страхов не только указал на ее неизбежность и законность, но даже подметил ее несомненные проявления в современном естествознании, показал, как оно, не удовлетворенное своими мнимыми богатствами, само ищет из себя выхода; в то же время ему удалось выяснить, как нередко науку выводят за ее пределы и тем самым отрицают ее — умы, предъявляющие к ней запросы, не вытекающие прямо из ее непосредственных задач. Мы разумеем полемику Страхова о спиритизме. Страхов указал, что рационализм никогда не может найти в самом себе удовлетворения, так как, очевидно, человеческий дух не может всецело исчерпать себя в одном каком-нибудь из жизненных элементов; и вот современное естествознание отважилось ступить на новый путь — научного, опытного проникновения в область сверхчувственного, сверхопытного. В стуках и движениях тел естествоиспытателя пытались наблюдать проявления духа и, таким образом, и его ввести в число предметов эмпирического изучения. Эта погоня естествознания за блудящими огнями действительно с удивительной ясностью обличает и его бессилие удовлетворить все запросы духа, и неспособность подняться над однажды усвоенной эмпирической точкой зрения. В своих результатах спиритизм поэтому и должен был явиться отрицанием науки, тех ее «вечных истин», то есть основных положений чисто формального свойства, которые исчерпывают всю полноту изучаемых ею явлений, но, очевидно, не могут простирается на явления, не входящие в категорию ее предметов, вроде, например, математических положений, как $2 \times 2 = 4$, или физического закона сохранения энергии, или закона инерции. Эта полемика составляет содержание особой книги, которая так и озаглавлена — «О вечных истинах».

Для полноты очерка надо упомянуть, что Страхов посвятил целый ряд статей опровержению дарвинизма в связи с разбором превосходной критики дарвинизма Н. Я. Данилевского⁴⁶; но сущность отношения Страхова к дарвиновскому эпигенезису нами уже намечена несколько выше, и потому едва ли нужен подробный разбор этих статей, разбросанных по разным произведениям Страхова, но главным образом сосредоточенных в его «Борьбе с Западом».

IV.

Почти одновременно с знакомством с Григорьевым состоялось другое знакомство, игравшее еще большую роль в жизни Страхова, а именно с братьями Достоевскими, Федором и Михаилом Михайловичами⁴⁷. «В журналистику я вступил, — писал Страхов, — с некоторым равнодушием и даже ленью⁴⁸; однако же знакомство мое с Ф. М. Достоевским началось именно на журнальном поприще»⁴⁹. В конце 1859 года сослуживец Страхова и сотрудник по журналу «Светоч» А. П. Милюков поместил в этом журнале одну большую статью Страхова и пригласил его на свои вторники. «С первого вторника, когда я явился в этот кружок, я считал себя как будто принятым наконец в общество настоящих литераторов и очень всем интересовался. Главными гостями казались Ф. М. и М. М. Достоевские, давнишние друзья хозяина. Кроме них часто являлись А. Н. Майков⁵⁰, Вс. Вл. Крестовский⁵¹, Д. Д. Минаев⁵², д-р С. Д. Яновский⁵³, А. А. Чумиков⁵⁴, В. Д. Яковлев и другие. Разговоры в кружке занимали меня чрезвычайно. Это была новая школа, которую мне довелось пройти, школа, во многом расходившаяся с теми мнениями и вкусами, которые у меня сложились. До того времени я жил тоже в кружке, но в своем, не публичном и литературном, а совершенно частном, состоявшем из людей моложе меня возрастом. Назову из живых Д. В. Аверкиева⁵⁵, из покойных — М. П. Покровского, Н. Н. Воскобойникова⁵⁶, В. И. Ильина, И. Г. Долгомостьева⁵⁷, Ф. И. Дозе. Тут господствовало большое поклонение науке, поэзии, музыке, Пушкину, Глинке; настроение было очень серьезное и хорошее. И тут сложились взгляды, с которыми я вступил в чисто литературный кружок. В то время я занимался зоологию и философию, и потому, разумеется, прилежно следил за немцами, в них видел вождей просвещения⁵⁸.

Что касается до взглядов на искусство, то я держался обыкновенной немецкой теории **свободы художника**, той теории, которая сложилась в немецкой философии, проникла к нам еще при жизни Пушкина и которой много обязана наша литература⁵⁹. Направление же литературного кружка сложилось под влиянием французской литературы; политические и социальные вопросы были тут на первом плане и поглощали чисто художественные интересы. Художник по этому взгляду должен следить за развитием общества и приводить к сознанию нарождающееся в нем добро и зло, быть поэтому наставником, обличителем, руководителем; таким образом, почти прямо заявлялось, что вечные и общие интересы должны быть подчинены временным и частным»⁶⁰. Философские же и научные интересы, по-видимому, отступали совершенно на второй план, не находясь, по самой природе своей, в прямой непосредственной связи с явлениями общественной жизни. Близость с этим кружком, преимущественно с братьями Достоевскими, главным образом и вывела Страхова на журнальный путь. «Хотя я имел уже маленький успех в литературе, — пишет он, — и обратил на себя некоторое внимание М. Н. Каткова⁶¹ и А. А. Григорьева, все-таки я должен сказать, что больше всего обязан в этом отношении Ф. М. Достоевскому, который с тех пор отличал меня, постоянно одобрял и поддерживал и усерднее, чем кто-нибудь, до конца стоял за достоинство моих писаний»⁶². Достоевские тогда затевали издание «толстого» ежемесячного журнала «Время» и пригласили Страхова в сотрудники. Предложение было принято, и тогда перед сравнительно недавно вступившим в литературу писателем немедленно открылась возможность широкого журнального влияния в качестве одного из ближайших членов редакции журнала, сразу имевшего быстрый и прочный успех. Увлечение новым родом занятий было так сильно, что Страхов, находя в них также и значительную материальную поддержку, решил прекратить свою педагогическую деятельность и в 1861 году вышел в отставку, а летом 1862 года предпринял даже на свои скромные сбережения заграничное путешествие, половину которого совершил с Ф. М. Достоевским. Поездка шла через Берлин и Дрезден в Женеву, Люцерн, затем через Монсенис и Турин в Геную, Ливорно, Флоренцию, вновь через Геную и Марсель в Париж и обратно. Однако этот жизненный успех оказался непрочным и крайне

недолговечным: уже в следующем, 1863 году, над журналом «Время»⁶³ разразилась беда, невольной причиной которой оказался сам Страхов. В начале января этого года, как известно, вспыхнуло польское восстание, имевшее своим последствием, между прочим, очень резкий перелом общественного настроения от либерализма к горячему подъему патриотических чувств. Московская журналистика стала во главе нового движения; петербургская же, наоборот, отвечала ему почти всеобщим молчанием, отчасти вынужденным, отчасти тенденциозным, и ограничивалась сухими и бледными корреспонденциями. Это молчание чрезвычайно раздражало патриотически настроенную часть общества, и потому, когда в апрельской книжке «Времени» появилась статья Страхова о польском деле под заглавием «Роковой вопрос» и за подписью «Русский», это настроение выразилось очень резко: в статье усмотрели полонофильское направление, дело доведено было до сведения государя, и журнал был закрыт, несмотря на всевозможные хлопоты и разъяснения, которых единственным последствием было разве только то, что Достоевским через семь месяцев было вновь разрешено издание журнала под названием «Эпоха», начавшего выходить при самых неблагоприятных условиях с апреля 1864 года двойною книжкою — за январь и февраль. Журнал пошел плохо, был встречен неприязненно всею литературой, выходил неисправно и в конце концов прекратился после февральской книжки 1865 года. Но эти прекращения двух журналов застали Страхова настолько привязавшимся к литературным занятиям, что он не мог сразу решиться переменить их на какие-нибудь другие. «После прекращения «Эпохи» я попал, — пишет он в «биографических сведениях», — на «подножный корм» — так я называл времена, когда жил переводами». Этот чернорабочий литературный промысел, как известно, и труден и неблагодарен; жить переводами можно только при самой усиленной работе. Так и в это время Страхов работал, как вол, а между тем едва-едва перебивался, хотя самый труд был ему привычен: он уже и раньше работал над переводом «Истории новой философии» Куно Фишера⁶⁴. Так как, кроме того, Страхов и впоследствии занимался переводами, то мы находим всего уместнее здесь же охарактеризовать всю его деятельность как переводчика.

Результаты этой деятельности весьма не равны достоинством. Во главе всех переводов Страхова должен быть поставлен позднейший из них по времени — переводы отрывков из воспоминаний Ренана⁶⁵ («Souvenirs d'enfance et de jeunesse»⁶⁶), появлявшиеся в «Русском обозрении»⁶⁷ и отдельно не переизданные. К этим переводам вполне приложимы требования художественной критики по свойству своего содержания, исполнены и те из прочих его переводов, которые бывали предприняты на досуге и притом по собственному выбору переводчика, то есть исключительно из любви к переводимому оригиналу; наоборот, никакими достоинствами не отличаются переводы, сделанные наскоро, на заказ, по выбору не такого издателя, каким был Тиблен, а, например, Вольфа или апраксинского книжника Ваганова; эти последние грешат нередко большими недостатками, объяснимыми только спешностью срочной работы. Переводы первой категории и по выбору, и по выполнению составляют истинную заслугу Страхова пред нашей философской и научной литературой; к их числу принадлежат: «История новой философии» Куно Фишера в четырех томах; эта книга давно распродана, и тем не менее на нее существует огромный спрос; «Бекон Веруламский»⁶⁸ Куно Фишера; это издание также распродано, хотя в настоящее время уже устарело, ибо автор выпустил свою книгу вторым, совершенно переработанным изданием; «Об уме и познании» Тена⁶⁹ — не так давно вышло второе, исправленное по последней редакции подлинника, издание этой книги; «История материализма» Ланге⁷⁰ — сполна распроданная, к сожалению, до сих пор не переизданная книга; «Введение к изучению опытной медицины» Клода Бернара⁷¹ — также распроданный и, несмотря на огромный спрос, не повторенный перевод; наконец, «Жизнь птиц» Брема⁷².

Ко второй категории относятся следующие переводы⁷³: Шванн⁷⁴ — «Анатомия человека»; Брем и Росмесслер⁷⁵ — «Лесные животные»; «Чудеса древней страны пирамид»; Фигье⁷⁶ — «Светила науки» (1-й том); Тьерселен — «Записки китолова»; Бертран — «Перевероты»; Ливингстон⁷⁷ — «Путешествие по Замбези» (2 тома); Смайльз⁷⁸ — «Характер»; Франц⁷⁹ — «Физиология государства»; Гонеггер⁸⁰ — «История культуры». Кроме всех этих переводов, был сделан еще один, уничтоженный цензурой, — перевод книги Штрауса⁸¹ о Вольтере⁸².

В 1867 году Страхову удалось наконец вернуться к журналистской деятельности: Краевский⁸³ пригласил его по смерти Дудышкина⁸⁴ редактировать «Отечественные записки». Но новому редактору не удалось поднять падавший журнал, и в 1868 году Краевский, оставаясь номинальным редактором «Отечественных записок», отдал их Некрасову. Между тем Страхов получил место помощника редактора «Журнала министерства народного просвещения», хотя и тут оставался недолго: в 1869 году В. В. Кашпирев⁸⁵ основал журнал «Заря», в котором Страхов был два года редактором и за все время существования журнала главным руководителем. Но и «Заря» не имела успеха и в 1872 году прекратилась. Вместе с нею прекратилась и непосредственная журнальная деятельность Страхова, так как редактирование им впоследствии «Известий Славянского благотворительного общества»⁸⁶ явилось делом вполне случайным и было весьма непродолжительно. «Я увидел, — писал он в «биографических сведениях», — что работать мне негде. «Русский вестник» был единственным местом, но деспотический произвол Каткова был для меня невыносим. Я решился поступить на службу и с августа 1873 года принял место библиотекаря Публичной библиотеки по юридическому отделению». Сверх того, с 1874 года и до смерти он состоял членом ученого комитета министерства народного просвещения.

Таким образом, в роли публициста Страхов казался таким же неудачником, как и в роли ученого. Внешний, формальный успех вообще не был дан ему в жизни; но он им мало дорожил, и те бедствия, которые доводят другие натуры до озлобления и отчаяния, его только «огорчали», да и то ненадолго.

Он так мало требовал от жизни ее внешних благ, что вполне довольствовался их наименьшими размерами. Никогда он не роптал, никогда не раздражался, даже никогда не жаловался на постигшие его невзгоды. Личные отношения никогда не играли никакой роли в его суждениях, а, скорее, наоборот, его умственные симпатии и антипатии обуславливали его личные отношения. Главными привязанностями в его жизни была его, можно сказать, нежная любовь к Григорьеву, Достоевскому, Данилевскому, графу Л. Н. Толстому и Фету⁸⁷, то есть именно к тем писателям, которых он наиболее высоко ставил среди своих современников. Наоборот, в его антипатиях никогда не было ничего личного. Смело можно сказать, что при всяких обстоятельствах он придавал бы именно то же значение произведениям Страхова, Некрасова⁸⁸, Писарева⁸⁹, Михайловского⁹⁰, Соловьева⁹¹, Минаева и других; какое придавал им под градом издевательств и даже надругательств над ним с их стороны. Отношение безглагового презрения или даже почти равнодушного подтрунивания возбуждалось в нем именно литературными качествами произведений этих писателей и никогда не изменялось в пристрастное озлобление, невзирая ни на какие печатные и даже непечатные выходки на его счет. Несколько резких порицаний, вырвавшихся у него главным образом по адресу Салтыкова, нимало не носят личного характера, особенно если сравнить их краткость и немногочисленность с теми потоками ругани и оскорблений, которые направлялись его противниками на его незапятнанное имя. Стоический характер Страхова, его умение в области идей быть выше всяких личных отношений, внушили под конец даже его клеветникам сознание, что имя Страхова должно произноситься с уважением и что его незапятнанно чистая деятельность обезоруживает всякие клеветы и даже осуждения, обращая их целиком на головы тех, от кого они исходят.

Но что же представлял из себя Страхов как публицист? Вопрос необычайно сложный и обширный, которого настоящая статья может коснуться лишь в самых общих чертах, скорее намечая, нежели исчерпывая его во всей полноте.

По собственному сознанию Страхов пришел к журнальной деятельности случайно и вступил на ее арену весьма неохотно, по свойственному всем молодым ученым складу мыслей, свысока пренебрегая журналистикой. Если он позже и увлекся ею, то это вполне объяснимо упомянутой выше «потребностью в аудитории», присущей каждому, хоть отчасти знакомому с психологией научных занятий. Удерживала же его на журнальном пути чисто денежная необходимость и невозможность иначе устроиться. Как-то раз, беседуя с ним, пишущий эти строки жаловался Страхову, что необходимость заставляет писать и тратить время, которое так хотелось бы посвятить на то, чтобы самому учиться, самому восполнять свое образование, себе самому выяснять свои внутренние вопросы, на то, чтобы возвещать другим с крыш и минаретов о том, что для себя самого и решено и ясно. В возникшем по этому поводу разговоре Страхов, между прочим, с улыбкой заметил, что ведь «в этом, если хотите, и вся трагедия всей моей жизни». Теперь, окидывая одним взглядом всю его деятельность, невольно чувствуешь всю глубокую и горькую правду этих спокойно и даже шутливо сказанных слов. Истинное призвание Страхова всегда была критика, руководимая не теми или иными вне его лежащими запросами общественной жизни, а исключительно внутренней, метафизической потребностью ума в знании и размышлении. «С самого детства, — писал он, — у меня была любовь к книгам, и знаменитые имена писателей, ученых и философов возбуждали во мне благоговение и желание познакомиться с их произведениями. Тут было что-то невольное, как бы прирожденное; мне и тогда и потом почти не случалось встречать людей, у которых эти чувства господствовали бы в такой мере, как у меня. Царство ума, новые и древние создания мысли и творчества являлись с детства, как далекое небо, обступившее меня со всех сторон и усеянное прекрасными светилами. Хорошая черта этой идеализации состояла в том любопытстве, которое постоянно влекло меня ближе познакомиться с этими светилами; дурная черта в том, что внимание рассеивалось и что уверенность в своих мыслях и чувствах росла слишком медленно под давлением авторитетов. Представьте себе настроение, когда человек заранее уверен, что область истины от него далека и трудно ему доступна, но что эта область, несомненно, существует, богатая и прекрасная, созданная усилиями многих веков и народов: узнать эти

сокровища, найденные другими, — вот что ему нужно сделать, и это важнее, чем пытаться самому решать вопросы, самому подыматься на высшую точку умозрения. Что значит отдельное лицо в сравнении со всей историей ума человеческого? Глубочайшие истины, конечно, искони были доступны людям высоких душевных сил, как об этом говорит Гете:

Das Wahre warschon längst gefunden,
Hatedle Geisterschaft verbunden;
Das alte Wahre, fass es an!⁹²

«С такими и подобными мыслями пустился я в то плавание по морю книг, которое начал с отрочества и продолжаю до сих пор. Царство книг действительно может быть названо морем — так оно необозримо, так много в нем однообразных пространств, и такие дива можно в нем найти, или скрытые в глубине, или выдающиеся над уровнем, как острова и скалы, давно всем известные, по крайней мере по слуху»⁹³.

Легко, разумеется, убедиться, что люди, проникнутые такими настроениями, не рождены для практической жизни. В ней они или терпят полную неудачу, или проходят бесследно и бесполезно. Их область — книги, чистое мышление, а не живая, непосредственная деятельность. Но дело в том, что выбирать в жизни не легко и что чистое умозрение жизнь оставляет только тем, кто не связан никакими нуждами, работами и неудачами. Страхов был связан своей бедностью и тяжелыми жизненными условиями и на борьбу с ними затрачивал те силы, которые природой были предназначены для более высокого и значительного применения. Профессуры добиться ему не удалось; преподаватель он был, по свидетельству его учеников, очень плохой — сбивчивый, отвлеченный и сухой; наконец, и публицистом он вышел неудачным, так как не обладал ни одним свойством, необходимым для этого ремесла.

Публицист, в сущности говоря, тот же педагог, только бегущий с азбукой и указкой за текущими явлениями окружающей его действительности. Он ничего нового не говорит, а отвечает лишь то, о чем спрашивают события. Он вечно твердит зады, вечно возобновляет в памяти мира азбуку, которая так легко забывается. Он — толкователь всей обыденной жизни до последних ее мелочей, и нередко в них-то для него лежит **самое главное**, центр тяжести его значения. Публицист — суфлер улицы, площади, театра, собрания, семьи, общества, власти; он должен быть везде, где забывчивый человек теряется мыслями. Он вечно должен всем отвечать на вопрос: что же нам делать, что думать, как держаться? Он должен предугадывать этот вопрос, предрешать все суждения. Всегда готовый к спору и неожиданности, всегда бегущий за событиями, подхватывающий все комбинации калейдоскопа общественных явлений, раздробляющий свое внимание на миллионы интересов, он, очевидно, человек, более всего на свете чуждый и даже враждебный эстетичности, цельности, стройности, единству. Но в то же время публицист (мы все время подразумеваем под этим словом журналиста) должен держаться, как и педагог, определенных и точных начал, учить непременно по одному учебнику. Он должен быть догматиком, человеком с законченной, несокрушимой скрижалью, держащим яркий рефлектор и им наводящим лучи своего исповедания на каждую темную точку окружающей жизни. Потому он должен быть, во-первых, проповедником определенного, положительного учения, а во-вторых, проповедником бесконечно быстрым, отзывчивым и разнообразным. Его мысли должны быть коротки, просты, подвижны и всепроникающи, как инфузории, хотя бы то были заразные бактерии. Свои широкие идеи он должен уметь так раздробить о плоскую действительность, чтобы всюду разлетелись брызгами его категоричные и простые разъяснения. Сомнение журналисту непозволительно; толпа не поставит ему в упрек молчания, не поставит в упрек даже наглой насмешки над тем, что выше его понимания, но не простит колебаний. Непозволительна журналисту и самостоятельность в ходе и смене интересов; журналист, задавшийся высшими вопросами, живущий хотя бы гениально глубокой внутренней жизнью, потонет в общем равнодушии, не найдет себе читателей. Эта необходимость всегда иметь готовое мнение и порождает отвратительнейшее явление

нашего века — скептическую печать. Газеты везде и всегда скептически, подозрительны, везде склонны видеть личность, недобросовестность; сплетня, глумление, невежественное всезнайство и самый низменный скептицизм — вот непрменный дух газетной печати, ежедневно прививаемый толпе миллиардами печатных листов. Им отравлена вся грамотная, а за ней и неграмотная часть человечества. Работа ума, самостоятельность мысли становятся все больше не нужны; газетный лист дает суждения по всем предметам и несокрушимую уверенность в этих готовых суждениях. Еще историки не успели взвесить, в какой степени воинственно-самодовольное невежество нашего века порождено развитием газетной литературы; еще человечество само не успело себе уяснить источников и значения этого площадного скептицизма. Публицистика в ее резких формах собственно только что народившееся явление. Власть еще не знает, как с нею быть, как на нее влиять, как ею править, и потому в нерешительности придерживается в области печатного слова экономического принципа невмешательства; руководители же духовной жизни человечества, умы, отворачиваются от лавочного руководства толпою.

Менее всего соответствовал такой деятельности пытливый ум и строгий склад настроений Страхова. Эстетик и критик, жаждущий познания, он в жизнь вступил и всю ее прошел учеником, а не учителем, исследователем, а не проповедником. Ни педагогом, ни публицистом он не мог быть, не противореча сам себе, да никогда бы и не был без угнетающей к тому необходимости. Мало того, для публицистической деятельности он не обладал не только надлежащим характером, но и подготовкой. Юридического образования он не получил и хотя не был безусловно чужд политическим и общественным наукам, тем не менее невольно рассматривал явления правовой и государственной жизни, так сказать, извне, с точки зрения общей словесности, а не под углом воззрений современного правоведения.

Кроме того, его образование и развитие шли в уединении, вдали от всяких общественных интересов и волнений. Он был, конечно, глубоким патриотом; но его патриотизм не был предначертанием общественной деятельности, непосредственным творческим порывом; он был скорее его личным настроением, естественным, прирожденным чувством, всегда готовым к заслуженному восторгу и благоговению, но не к борьбе и действиям. Его патриотизм был именно созерцательный, эстетический, критический. Он страдал от бедствий своей родины, осуждал темные в ней события, восхищался ее славой и достоинствами, но дальше не шел. Он созерцал жизнь и искал, чем бы в ней восхититься, пред кем бы преклониться; но сам не выходил на ее арену иначе, как критиком. Он искал, так сказать, **положительных заблуждений, извращений «как целого»** и, по своей потребности высказаться, выступал с критикой этих извращений и заблуждений. Очевидно, эта роль ничуть не публицистическая, так как от публициста требуют не эстетической или философской критики, ограничивающейся разбором только своего предмета, но ждут положительных приговоров и суждений, а главное — практических выводов и указаний. Их Страхов давать не мог по самому свойству своей натуры, и потому его публицистические произведения или проходили совершенно незамеченными, или даже по какому-то роковому недоразумению возбуждали неудовольствие и негодование как раз со стороны тех, чьим воззрениям, в сущности, вполне отвечали своим содержанием, подобно, например, превосходной по глубине замысла статье «Роковой вопрос». Равным образом, не имела ни успеха, ни убедительности его поражающая глубиной, тонкостью и остроумием журнальная полемика, так как она являлась именно критикой публицистики и ее приемов — делом бесполезным и более чем неблагодарным. Его статьи только возбуждали против него ненависть всей периодической печати, и та с своей стороны делала все возможное, чтобы отбить у читателей охоту читать Страхова, выслушивать его мнения.

К Страхову долго применялся большинством газет и журналов постыдный и низкий прием высмеивания пополам с замалчиванием, который, например, в настоящее время широко применяется с таким огромным успехом к князю Мещерскому, к которому упорно не желают относиться серьезно, как того требовало бы его значение бесспорно даровитого и убежденного представителя некоторых определенных и точных воззрений (правильных или неправильных — это вопрос совершенно особый). Во всяком случае, следует оговориться, что собственно публицистические статьи занимают очень скромное место среди прочих произведений Страхова, преимущественно посвященных литературной критике, хотя и в этой последней, в свою очередь, нередко очень ясно просвечивает публицистический элемент, который, как легко угадать, всегда имел очень широкий, гораздо больше философски-литературный, нежели строго политический, характер. Так как вообще Страхов выяснял свои идеалы гораздо больше критикой несоответствующих им воззрений, нежели положительными формулировками, то и в области публицистики их характеристика должна быть посвящена главным образом анализу этих воззрений. Притом такой анализ тем более необходим в этой области, что в ней Страхов гораздо больше руководился общими, отвлеченными идеями, чем точным знанием, и потому, хотя его симпатии и антипатии и были неукоснительно правильны, но самая критика не имела той убедительности и силы, которые свойственны ей на других поприщах.

Политические науки и все вообще правоведение разделили в истекающем столетии судьбу наук естественных и пришли в упадок, проявляющий самое разительное сходство с современным внутренним упадком естественных наук наряду с их внешним успехом и процветанием. Великий раскол в царстве науки, разрыв знания с умозрением, простерся и на правоведение. Школа естественного права исчезла из всей его области, и юристы остались без философии, то есть без теории права. Юриспруденция, как и естествознание, вся целиком обратилась к изучению положительных обычаев и законодательств.

Основные начала, исходные понятия были устранены из науки, и как естественники от познания сущностей перешли к изучению форм явлений, то есть стали на точку зрения голого материализма, так и юристы признали основой своей науки исключительно формы людских отношений. Как все современные естественные науки были сведены на механику атомов, из которой стремились построить и физику, и химию, и физиологию, и психологию, так правоведение превратилось в механику индивидуумов, которая должна была произвести из себя учения о собственности, семье, роде, общине, государстве. Тела и жизнь исчезли, остались атомы и силы; исчезли люди, союзы, семья, государство, остались отвлеченные индивидуумы, права и, так сказать, зоология государств — псевдонаука социология. Космополитизм, безразличный к истории, государству, народу, воцарился в области политических наук, и живые формы действительности исчезали, раздробляясь на права и лица, лица и права. Это механическое правоведение, само по себе стоящее и само из себя идущее, повело к тем же уродливостям, что и механическое естествознание: в нем породился свой материализм, учение о едином человечестве, как совокупности всех лиц и всех прав. История превратилась, подобно канто-лапласовской⁹⁴ истории неба, в механическое сосредоточение атомов и их постепенное объединение в одно случайное целое — человечество — и была названа эволюцией, а самое ее движение, насильственно подгоняемое под это воззрение, окрещено прогрессом. Роль человека свелась к самодовольному существованию, к борьбе за право, самоцельной и всеисчерпывающей, неизменным результатом которой обещалось всеобщее единство и всечеловеческое блаженство. Наконец, как спиритизм в естествознании, то есть как искание выхода из себя самого и своими средствами этой голой, безотрадной механики, этого голого материализма правоведения, возник современный анархизм — чудовищный политический спиритизм, стремящийся подчинить узким и тесным правовым понятиям все явления живой общественной жизни, и этим стремлением приводимый к полному, безусловному отрицанию и этих явлений, и этой жизни, и самых тех начал, из которых он сам исходит. Этот анархизм на западной почве воплотился в неистовой парижской коммуне 1870 года⁹⁵, а на почве русской — в нигилистическом брожении вплоть до чудовищной катастрофы 1 марта 1881 года⁹⁶. Именно этим двум

отвратительным событиям посвящены две крупные статьи Страхова, отпечатанные в двух первых книгах «Борьбы с Западом». В обеих статьях, горячих, увлекательных и живых, Страхов старался выяснить самые причины, самый корень зла, подвергая самому внимательному и всестороннему разбору вопрос, в чем жизненная сила, увлекательность анархизма. Вопрос, бесспорно, глубокий и важный; но едва ли правильна его постановка. Страхов искал философских и этических основ нигилизма, упуская из вида главное — его основания политические. Оттого для него, как и для всех его современников, даже для первых между ними, Достоевского и графа Л. Н. Толстого, нигилизм оставался, в сущности, лишь великой этической загадкой, безрассудным проявлением непомерной гордости ума человеческого. Сверх того, нигилизму же Страхов посвятил целую особую книгу под заглавием «Из истории литературного нигилизма», составляющую сборник полемических его статей и заметок, появлявшихся во «Времени» и «Эпохе». В этих статьях вопрос взят несколько с иной стороны и притом разобран очень интересно: Страхов анализирует в них, по его словам, огромные размеры, в которых у нас в 60-х годах обнаружилась пустота и зыбкость умов, бывшие почвой, «на которой выросло столько чудовищных мнений и чудовищных действий». Эти статьи, представляющие из себя истинные перлы полемического остроумия, блистательно обнаруживают, опять-таки совершенно аналогично с произведениями Достоевского, Писемского и Лескова, действительную подкладку успехов нигилизма в России — отсутствие истинного просвещения в связи с величайшей восприимчивостью общества ко всяким новизнам и податливостью на авторитеты.

Вторым глубоко антипатичным Страхову воззрением был современный космополитизм, проявлялся ли он в отрицании народности вообще, или в отрицании национального характера государства, то есть проповеди нетерпимости окраин и инородцев к терпимому государству. Страхов был убежденным и последовательным националистом в политике, примыкая по многим пунктам к воззрениям Н. Я. Данилевского и даже к славянофилам Славянского благотворительного общества, то есть, так сказать, староверам славянофильства, вдавшимся в самую прискорбную крайность сравнительно с создателями этого направления, «старыми» славянофилами, — Хомяковым⁹⁷ и Киреевским⁹⁸. Впрочем, эту часть воззрений Страхова мы можем оставить в стороне, так как в его статьях она никогда не выражалась с полной определенностью, а кроме того, в частных разговорах он очень ясно высказывал, что в его взглядах на балканских и западных славян произошел такой же резкий перелом, как тот, который сказался в наделавшей столько шума прошлогодней речи В. И. Ламанского⁹⁹ в собрании Славянского благотворительного общества.

Выяснив все изложенное, возможно приступить к анализу важнейшей публицистической идеи Страхова — к его «борьбе с Западом», которую он сам склонен был считать главным делом всей своей жизни. Уже неоднократно было указано, как самим Страховым, так и другими, что слова «борьба с Западом» было бы крайне ошибочно понимать в их буквальном смысле и что они только намекают на главную задачу его книги — критику современных умственных авторитетов Запада, приобретших наиболее сильное влияние у нас, причем это влияние было даже сильнее и вреднее, чем на Западе, в силу низкого уровня просвещения нашего общества, менее, чем какое-либо другое, способного дать отпор обаянию модных и громких на Западе имен. Эти авторитеты — Милль¹⁰⁰, Ренан, Тен и Штраус¹⁰¹. Во главе разборов их произведений помещен удивительно глубоко и пронизательно написанный обзор воззрений Герцена, которого Страхов впервые выставил в истинном свете русскому обществу, т. е. как разочарованного в Западе западника.

Во многих отношениях Герцен и Страхов представляются чрезвычайно любопытными противоположностями, и их параллельная характеристика могла бы дать драгоценные выводы для понимания каждого из них. Из контрастов двух столь противоположных умов особенно замечательно несходство их отношения к Западу. Если Герцен¹⁰² является перед нами **разочарованным** западником, то Страхов, подобно всем славянофилам, может быть назван западником **не очарованным**. Разочарование Герцена в идеях Запада было порождено его разочарованием в той западной жизни, которой они явились «гиперболическим» выражением; напротив, Страхов относился критически к этим идеям, стоя на русской почве. Если Герцен отрицал Запад во имя его собственной жизни, то Страхов, как всегда, так и в «Борьбе с Западом» направлял свой анализ на положительные, конкретные явления действительности, на определенных писателей, определенные мнения; сравнительно с идеализмом Герцена его мысль проникнута глубочайшим реализмом, объективна в высшей степени. Истинный критик, он ничего не «проповедует», кроме справедливости в предметах своих разборов. Потому, повторяем, основная мысль его «Борьбы с Западом» сводится к борьбе с влияниями на русскую литературу наиболее громких авторитетов Запада, причем эта борьба выражается ни более ни менее как беспристрастной критикой основных идей этих авторитетов. Публицистическое значение и влияние такой критики, разумеется, должно неизбежно сводиться к возбуждению умственной независимости, свободы пред всякими авторитетами, иначе сказать — к возбуждению умственной самобытности пред лицом западной культуры. Таким образом, в своих трех книжках «Борьбы с Западом» Страхов дает, по терминологии Н. Я. Данилевского, критику современных источников европейничанья, главным образом в области религии и истории. Совершенно справедливо считая характернейшей особенностью духовной жизни современной Европы всеобщий скептицизм, Страхов указывает в своих статьях, как даже великие литературные дарования Ренана или Тена отравлены плоским и безжизненным скептицизмом этих писателей, т. е. чистым философским отрицанием в его самых жалких и мелких формах.

Впрочем, помимо **источников европейничанья**, «Борьба с Западом» касается трех весьма обширных предметов — именно взгляда на развитие нашей литературы как на борьбу с Западом (статья «Ход нашей литературы, начиная от Ломоносова»¹⁰³), «России и Европы» Данилевского и, наконец, анализа различия культур, как движущего начала политики (статья «Роковой вопрос» и приложения к ней). Но этот ряд статей настолько близко связан в нашем понимании с чисто критическими статьями Страхова, что будет понятен только в совместном с ними изложении и разборе.

V.

«До 1873 года (года поступления в Публичную библиотеку) меня несла волна; теперь я был в гавани, — писал Страхов в «биографических сведениях»... — Я постоянно чувствовал недостаток образования и потому решил: лет десять ничего не писать и учиться. Я стал покупать книги (это была моя охота, развлечение) и проводил вечера за чтением философов, богословов, поэтов — всего важнейшего во всемирной литературе. Вообще я решил, что я урожденный словесник; естественные науки не увлекали меня, а всякий успех в языках неизгладимо оставался в памяти.

В 1875 году я поселился вместе с Д. И. Стахеевым¹⁰⁴ там, где теперь живу.

В 1882 году я напечатал «Борьбу»; книжка быстро разошлась, и с тех пор начинается ряд моих изданий. Я подбирал однородные статьи и писал новые для них пополнения. Книжки шли не быстро, но шли; я успевал расплачиваться с бумажной лавкой и типографией, и затем мне оставался очень маленький прибыток, может быть, со всех книг 200—300 р. в год. Всего больше меня поддерживали издания «России и Европы» на половинных издержках и половинных прибылях.

В 1885 году умер Н. Я. Данилевский, и я стал собираться умирать. Я подал в отставку из Публичной библиотеки и вышел с чином превосходительства и пенсией в 377 р. в год.

С 1889 года я избран членом-корреспондентом Академии наук, с 1893 года почетным членом психологического общества и с 1894 года почетным членом славянского общества.

За границей я был четыре раза, в 1862, 1875, 1884 и 1893 годах. В 1875 году с семейством Вышнеградских, с апреля по июнь, — одна Италия; 1884-м — три месяца, июль—сентябрь, — одна Германия: Берлин (3 недели), Эмс — коротенькое лечение, Байрейт — оперы Вагнера¹⁰⁵, — Мюнхен. В 1893 году — большое лечение в Эмсе, потом Мюнхен — оперы Вагнера.

В России был на Кавказе в 1859 году: Пятигорск, Военно-Грузинская дорога, Тифлис, Каджора. В Самарской губернии, в имении Л. Н. Толстого на кумысе — 1874-м; в Оптиной пустыни с Л. Н. Толстым — 1879-м; в Петрозаводске два раза — 1870-м и 1871-м; Кивач¹⁰⁶.

Знакомство с Л. Н. Толстым случилось в 1871 году. После статей о «**Войне и мире**» я решился написать ему письмо, в котором просил дать что-нибудь для напечатания в «Заре». Он отвечал, что у него ничего нет, и прибавил настоятельную просьбу заехать к нему в Ясную Поляну, если представится возможность. В 1871 году я получил из «Зари» 400 р., которые долго задерживались, и в июне поехал погостить у своих родных в Полтаве. Возвращаясь в Петербург, я остановился в Туле, переночевал, взял извозчика и поехал в Ясную. С тех пор мы выдаемся каждый год, т. е. обыкновенно я летом гощу у него месяц-полтора. Мы иногда спорили, охладевали друг к другу. Но добрые чувства скоро брали верх; семья его полюбила меня, и теперь во мне видят старого неизменного друга, каков я и есть на самом деле.

Вот, кажется, все важнейшее. Внутренняя моя жизнь, т. е. мои грехи, покаяния, радости и горести, всегда казалась мне очень трудным предметом (каким тоном ее писать?) и едва ли стоящим того труда, который нужно бы на нее положить».

К этому очерку остается сделать небольшие, но довольно существенные дополнения, а именно по вопросу об издательской деятельности Страхова.

Она, как выше сказано, началась еще в 1857 году напечатанием его диссертации; затем, в 1865-м, была издана брошюра «О методе естественных наук и их значении в общем образовании» (до сих пор не распроданная!), к которой в 1867 году присоединилась другая, перепечатка из «Отечественных записок» статьи «Бедность нашей литературы». Эти первые попытки закончились неудачным изданием в 1872 году книги «Мир как целое», не имевшей совершенно успеха и едва разошедшейся в течение 20 лет через букинистов. Все эти издания не принесли Страхову ничего, кроме расходов, неприятностей и тяжелого чувства — сознания всеобщего пренебрежения. В 1876 году он приступил к изданию сочинений Григорьева и выпустил первый том, в котором собрал все главные, руководящие статьи этого критика; но и эта книга встречена была всеобщим равнодушием. Иначе пошло дело с самого начала 80-х годов, составивших второй период издательской (деятельности.— Д. С.) Страхова. В 1881 году появились его «Критические статьи о Тургеневе и Толстом», а в 1882-м — первая книжка «Борьбы с Западом»; одновременно возник большой спрос на «Россию и Европу», в издании которой он принимал участие, и этот первый успех повел за собой издание в 1883 году второй книжки «Борьбы с Западом» и затем, с 1886 года, всего последующего ряда его книг, а также в 1890 году «Сборника политических и экономических статей» Н. Я. Данилевского и в 1894 году посмертного собрания лирических стихотворений Фета. Все эти издания явились результатом позднего, но несомненного и глубокого поворота общественных симпатий к столь долго забытому писателю. Понемногу из незаметного сотрудника славянофильских и консервативных журналов Страхов становится веским и значительным авторитетом в области литературной критики. Бесспорно, первый толчок этому повороту общественного мнения дан был посмертным изданием сочинений и писем Достоевского, из которых многие впервые узнали с удивлением, что в русской литературе существует какой-то Страхов, перед суждениями которого в деле литературы сам Достоевский преклоняется как перед безусловным авторитетом, не находя достаточно высоких похвал и вообще для всех его произведений;

но понемногу рост авторитета Страхова пошел своим собственным ходом и особенно усилился с развитием и распространением философского образования в нашем обществе, а также и с успехом произведений гр. Л. Н. Толстого в Европе, заставившим замолчать его прежних хулителей и вместе выдвинувшим на первый план глубокомысленного критика, за десятки лет до этого успеха, среди всеобщего глумления и насмешек, указавшего истинное значение знаменитого романиста. Наконец, в последние годы Страхов, можно сказать, одержал решительную победу над замалчивавшими его противниками и на каждом шагу начал убеждаться, что его книги не только идут, но и живут, т. е. находят все новых и новых читателей, все глубже и полнее проникающихся их содержанием и начинающих сознавать, что эти книги — одно из лучших украшений русской литературы, что им предстоит еще огромное влияние в будущем. И с этим сознанием он мог умереть спокойно.

Заключением настоящему очерку должен послужить обзор деятельности Страхова как литературного критика и общая оценка ее значения в целом для русской литературы. Уже на основании изложенного выше легко заключить, до какой степени должно было быть пессимистично настроение Страхова, этого критика и эстетика, точно чудом каким попавшего в наш XIX век и, путем глубокого изучения, долгого размышления и опыта целой жизни, приведенного к убеждению в общем и повсеместном упадке философии, естествознания, политических наук и нравственных оснований быта всего человечества. То, что он любил всего пламеннее и глубже, обманывало все его упования и надежды и с каждым днем все меньше обещало в будущем. Страхов проследил наш век во всех его явлениях, от самых крупных до самых микроскопических, и везде нашел безотрадный упадок, полное духовное вырождение; он был критиком, даже, если угодно, публицистом эпохи нигилизма, которая в истории человечества явилась как бы противоположным полюсом эпохи Возрождения, знаменуя, как и та, поворот истории к какому-то новому будущему.

И на этом поприще Страхов погиб бы в безвыходном пессимизме, когда бы не его несокрушимая вера в это будущее, вера, имевшая свой палладиум в лице России. В нее Страхов верил так же твердо и непоколебимо, как не верил в Запад. Он чувствовал, что живет в печальное, переходное время, но чувствовал и то, что из этого времени есть исход во что-то неизмеримо лучшее и высшее, а его патриотизм, с детства одушевлявший все его существо самыми лучшими вдохновениями, подсказывал ему, что ключи к этому исходу будут даны его Отечеством, Россией, русским народом, русским творчеством. А залогом этой веры для него было искусство. Единственное, чем действительно замечателен и прекрасен истекающий век, это — русское художественное творчество. Пушкин и Глинка — это такие имена, такие светила, которых появление обещает породившему их народу неизмеримое будущее. Между тем эти имена еще и не были одиноки: целая плеяда светил, одно другого прекрасней и лучезарнее, поднялась за ними, точно выступая из-за рассеивающихся ночных туч. Запад, для которого давно закатилось и солнце религии, и даже луна философии, который давно зажег искусственные огни, фейерверки революционных учений, уличные фонари популярного знания, свечи и лампы индивидуалистической мысли, поневоле удерживающей ученого в четырех стенах тесной специальности, — этот Запад был поражен внезапным зрелищем, когда перед ним засияли неожиданные светила живого, свежего и чистого творчества. Его лучшие представители растерялись и, чувствуя что-то новое на востоке, отвечали на него или пренебрежением, или ненавистью, или, наконец, инстинктивным, бессознательным преклонением. В этих чувствах вера Страхова находила себе новые опоры и подтверждения. А кроме того, эстетик и критик, он всего привольнее, всего более на месте чувствовал себя в области искусства. Здесь его дарования находили наиболее соответствующее поприще, здесь его чувства восторга и благоговения перед истинно великим и прекрасным могли проявляться с полной силой и глубиной. Русское художественное творчество давало миру одно за другим такие произведения, которые обезоруживают всякое осуждение, которые поднимаются над самыми восторженными похвалами, которые всецело прекрасны и гениальны, и такие, в которых положительные стороны во всяком случае перевешивали

отрицательные. В области искусства для русского критика пессимизм невозможен, и в ней-то и почерпал Страхов, как Антей, бодрую и сильную веру в будущее, которая изнемогала порою под напором торжествующего нигилизма, скептицизма, позитивизма и прочих умственных поветрий нашего столетия. Этим обусловлена и характернейшая особенность критических статей Страхова, которые все почти посвящены похвалам, а не порицанию, так как написаны по поводу лучших произведений наших лучших художников. Притом величие русского художественного творчества тем дороже и отраднее было Страхову, что в других областях просвещения его вера не имела таких надежных и великих залогов, и он горько и болезненно живо чувствовал это. Он глубоко сознавал, какие великие требования предъявляет история к России, приводя ее могущественный политический организм в соприкосновение с утонченной западной культурой, и хотя ни на минуту не усомнился, что русский народ достойно ответит на все запросы и требования, но понимал тем не менее, что до настоящего времени русская культура еще загадочная величина будущего, которую трудно и предугадывать. В этой пропорциональности нашей культуры и нашей политической мощи он справедливо видел сущность «рокового вопроса» — разгадку враждебности к России Европы, а в частности поляков, и высказал свою мысль с полной прямоотой и точностью в своей непонятой статье. Эта непропорциональность и была для него основанием к противопоставлению России как самобытного мира всей Западной Европе, противопоставлению, которое сближало его и с Данилевским, и с славянофилами. Как известно, Страхов даже формально причислял себя к славянофильской школе. «Я порешил, — писал он, — что нужно прямо признавать себя славянофилом, когда признаешь существенные начала этого учения. Славянофильство ведь есть не надуманная и оторванная от жизни теория: оно есть естественное явление, с положительной стороны — как консерватизм, то есть приверженность к давнишним началам русской жизни, с отрицательной — как реакция, то есть желание сбросить умственное и нравственное иго, налагаемое на нас Западом»¹⁰⁷. Но, во всяком случае, это славянофильство Страхова требует некоторых оговорок.

В России не существует и не может существовать политических партий в том смысле, как они существуют на Западе, т. е. партий,

представляющих собою интересы и воззрения какого-либо определенного сословия или класса; у нас могут существовать только партии литературные, т. е. кружки лиц, более или менее сходящихся в мнениях по наиболее существенным вопросам нашей действительности. Оттого у нас вместо партий существуют только журналы «с направлением», чрезвычайно гордо присваивающие себе самим и раздающие направо и налево готовые ярлыки «либеральный», «консервативный», «реакционный» и т. п. Само собою разумеется, что эти ярлыки так ярлыками и остаются, ничего собою не выражая и не обозначая, кроме разве «наш», «свой» и «чужой». Без всякого преувеличения можно сказать, что у нас **направления** имеют только писатели; читатели же никогда ни к какому «направлению» не принадлежат и зачастую читают именно те газеты и журналы, которым наименее симпатизируют. И вполне понятно: когда речь идет о сословных, политических или экономических интересах, то представителям сословия легко столкнуться; но столкнуться вообще во взглядах и мнениях по всем решительно вопросам умственной жизни очевидно невозможно. Ничья совесть не может уместиться в газетном листе или книжке журнала. Наши «направления», сводящиеся в большинстве случаев к чисто личному складу мнений и взглядов (у нас все истинно значительные журналы и газеты являются чисто личными органами редакторов или издателей), несносная обуза для мыслящего человека, кто бы он ни был, и потому у нас даже писатели, обладающие хоть какою-нибудь умственной самостоятельностью, остаются **вне** всяких партий или сами создают свой журнал или газету. Можно сказать, что каждый самобытно мыслящий ум в России уже является партией и ни одной партии не удовлетворит, а потому получит немедленно свою собственную кличку, готовый, более или менее нелепый, ярлык.

Так было, например, в свое время и с славянофилами, имевшими между собою по существу дела очень мало общего, но всего менее общего со славянами, которые гораздо больше были им навязаны, чем ими действительно восприняты. Так и в наше время обстоит дело с консерваторами, которые все не имеют между собою ничего решительно общего и, наоборот, зачастую оказываются злейшими врагами истинно народных, истинно православных, истинно монархических воззрений. Так же точно случилось и со Страховым, который позволил себе не пользоваться готовыми взглядами, а иметь свои собственные, и за то был облаян из-под всех подворотен. На самом деле, он не принадлежал ни к одному журналу. А являлся как бы типичным русским читателем, от которого мы требуем не готовой скрижали исповедания, а только здравых и верных суждений. Притом Страхов, как внимательному читателю, надеемся, уже ясно из предшествующего, представлял из себя совершенно определенную, точную и цельную величину, мыслителя с выработанным, законченным и стройным мировоззрением, но только не сделанным под готовый ярлык, а уясняющимся читателю из долгого и самостоятельного изучения всей совокупности его прекрасных произведений. В этом смысле Страхов не только разделял воззрения, но и литературную судьбу своего друга Данилевского, до сих пор остающегося великой загадкой для читателей, несмотря даже на широкий успех его главного сочинения. С произведениями обоих этих писателей никак нельзя разделаться кратким приговором, вроде «ретроград», «реакционер», «метафизик» и т. п. «обидными» кличками; их надо читать и изучать, над ними надо размышлять, на них надо учиться. А так как все это очень трудно, то большинство «читателей» (ставим это слово в кавычках потому, что читателем у нас чаще всего называется не тот, кто действительно читает, а тот, кто мог бы или должен бы был читать, но, несмотря на это, читать ничего не хочет) предпочитало игнорировать таких «трудных» писателей, пока время не взяло на себя труд выяснить ему, что эти произведения должны быть настольною книгою каждого мыслящего русского человека.

В предшествующем отчасти уже намечена основная мысль литературной критики Страхова: основной задачей русского искусства он считал создание, или, вернее, художественное воссоздание, героических идеалов и героических воззрений русского народа; а в связи с этой основной задачей характернейшей особенностью всего **хода русской литературы** — освобождение от увлечений западными героическими идеалами. Обе эти точки зрения совпадали с основами воззрений замечательнейшего русского критика — Григорьева и, бесспорно, выяснились (поскольку выяснились) самому Страхову под несомненным влиянием Григорьева; тем не менее эти взгляды стоят в такой тесной и прямой связи со всем мировоззрением самого Страхова, что трудно говорить о каком-либо с его стороны заимствовании. Здесь была просто встреча на одинаковых выводах совершенно разнородных умов, шедших каждый своею дорогою; без всякой натяжки можно утверждать, что и без Григорьева Страхов стал бы на свою точку зрения, тем более что он во многом расходился с ним, хотя бы, например, высоко ставя Полонского, которому Григорьев придавал очень небольшое значение, или, наоборот, беспристрастно развенчивая Тургенева, которого Григорьев ставил очень высоко, невзирая даже на то, что прекрасно понимал крупные художественные (оставляя совершенно в стороне идейные) недостатки его произведений. Наконец, оценку гр. Л. Н. Толстому Страхов дал совершенно самостоятельно и притом до такой степени в духе Григорьева, что, будь тот жив, он обеими руками подписался бы под приговорами своего младшего друга. К этому надо еще прибавить, что собственно эстетическое понимание, чувство меры, вообще вкус, у Страхова были неизмеримо тоньше и точнее, чем у его предшественника. Потому, если Григорьев установил правильную точку зрения на ход и задачи русской литературы, то Страхов сделал несколько новых, оригинальных и притом изумительно верных выводов по частным вопросам, особенно о гр. Л. Н. Толстом и лирических стихотворениях Пушкина. Можно смело сказать, что в произведениях Григорьева и Страхова заключено все положительное содержание русской критики и что прочие писатели на этом поприще сравнительно с ними представляют только историко-литературный интерес, а никак не более.

Итак, подводя последние итоги настоящего очерка, спросим себя в заключение: что же такое был Страхов и какую величину представляет он из себя в русской литературе? По основам своего мировоззрения он был эстетик, по содержанию своей деятельности критик, а по ее приемам художник. Вот три понятия, которыми намечается сущность его духовного облика; ими же определяется и значение его деятельности. Как натура созерцательная, не деятельная, он не выступил учителем, проповедником, руководителем, создателем направления; как художник, он не примкнул ни к какой школе, остался вольным зрителем мира; наконец, как критик, он примыкал в своих произведениях к объективно существующим, наличным произведениям чужого творчества, а не выступал творцом на арену литературной деятельности. Но вместе с тем удивительная независимость и прямота мысли, полная смелость и свобода суждения. Обширнейшее в России образование поставило его наравне с просвещением его века и помогло ему произнести над этим просвещением

Суд, который во лжи уличить
векам не придется¹⁰⁸.

Между тем, так или иначе подчиняясь или сопротивляясь духу этого просвещения, от него должно пойти все умственное движение будущего. Критика нашей науки, нашей философии, нашей государственности, нашего искусства необходима и неизбежна; с нее должны начать ближайшие поколения, чтобы так или иначе подвести счеты с тою культурою, которая завещана человечеству девятнадцатым столетием. Между тем часть этих счетов подведена и часть этой критики уже сделана человеком, вполне равным своему веку просвещением и далеко превосходящим его шириной и глубиной взгляда.

Поэтому смело можем сказать, что произведения Страхова послужат неизбежной и глубоко благотворною школою для всей научной, философской и художественной мысли ближайшего будущего. Страхов не предугадал его ни в чем положительном, но предугадал его в самом трудном и существенном, именно — в критике ближайшего прошлого, и, таким образом, заранее открыл ему пути и указал даже главнейшие задачи положительного творчества. Оттого нам трудно еще определить в настоящее время все значение его литературных заслуг; но можно уже теперь предугадывать их великие последствия и на произведениях Страхова воспитывать и готовить свои умы к надвигающимся запросам, открытиям и событиям.